

18+

И БЕДНЫМ, И БОГАТЫМ

ТОМ 2

ИРИНА ПЛЮТ

Приключения с элементами LitRPG и юмором

Ирина Плют

И бедным, и богатым. Том 2

«Издательские решения»

Плют И.

И бедным, и богатым. Том 2 / И. Плют — «Издательские решения»,

Елена Викторовна умерла, но вместо покоя очнулась в игровом мире — без денег, зато с лопатой и талантом поднимать мёртвых. Теперь она игрок по прозвищу Бухгалтер, шеф семейной партии и хозяйка ведомства, где скелеты числятся активами, боги проходят аудит, а любая тайна рано или поздно попадает в реестр. Во втором томе границы между игрой и реальностью трещат, старые долги оживают, семья лезет на территорию врага, а дебет с кредитом снова грозят не сойтись. Значит, придётся сводить миры вручную.

© Плют И.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Первичные документы	6
Глава 2. Четыре расхождения	12
Глава 3. Голем	20
Глава 4. Незапланированный спуск	30
Глава 5. Дверь на двоих	35
Глава 6. Слияние	40
Глава 7. Синхронизация	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

И бедным, и богатым. Том 2

Ирина Плют

© Ирина Плют, 2026

ISBN 978-5-0070-9134-3 (т. 2)

ISBN 978-5-0070-9114-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Первичные документы

Я сидела за новым дубовым столом — огромным, старым, любезно предоставленным мне покойником, — и перебирала браслет.

Браслет заслуживал отдельной описи, и я её вела уже третий вечер. Сам он был серым — ровным, глубоким, цвета сумерек между «ещё день» и «уже нет». А посередине, звеном-медальоном, сидел череп. Маленький, с ноготь, и разделённый ровно пополам: одна половина белая, как свежая кость, вторая — чёрная, как та самая каменная кость из моей косы. И вот тут начиналась теология, от которой у меня чесался реестр.

Над чёрной половиной черепа стоял нимб. Половина нимба — тонкое сияющее полукольцо, честное, ангельское, как рисуют на образах. А над белой половиной торчал рог. Витой, аккуратный, глубоко бесовской.

По всем местным канонам — по фрескам, по проповедям, по обложкам светлых орденов — полагалось строго наоборот: белое со святостью, чёрное с рогами. А тут — нет. Чёрное — с нимбом. Белое — с рогами. И если долго смотреть на чёрную половину, от её нимба начинало веять: чем-то непонятным, чем-то жутко страшным — и одновременно таким интересным, что оторваться я могла только усилием, которым в прежней жизни закрывала годовые отчёты.

Кто-то очень древний вложил в это звено целую проповедь без единого слова. Я её пока не дочитала. Но конспектировала.

А теперь — как я оказалась за этим столом, потому что стол тоже часть истории, и история эта началась через сутки после ухода богини.

Мир, судя по всему, понял меня буквально.

В эпилоге своего личного реестра — в итоговой ведомости за три года — я записала про это тело: «единственная строка описи без первичных документов». Записала для себя, с профессиональной досадой, как записывают вечный висяк.

Мир прочитал. И прислал первичку.

Наутро город проснулся изменившимся — опять: к этому у нас уже вырабатывается иммунитет. Неподальёку от бывшей точки появления новичков, на пустыре, который всегда был просто пустырьём, за ночь встал особняк. Не проявился призраком, как дома возвращенцев, — встал сразу, целиком, всей тушей: каменный низ, бревенчатый верх в три жилых яруса, флигеля, службы, ограда с воротами, двор. Здоровый, как административное здание города Москвы. Ну, почти: раз в десять поменьше. Но по местным меркам — дворец, и дворец не новодельный: камень тёсанный, потемневший, с историей в каждой щербине.

А к полудню в мой офис — тогда ещё в сторожку — постучали.

На пороге стоял господин с чемоданчиком. Именно господин: сукно, выправка, пробор, папка под мышкой — образцовый поверенный из тех времён, когда поверенные ещё носили честь вместе с портфелем. Осмотр давал скупое: Репа. Поверенный. Уровня не показывал вовсе, и это надо было записать сразу, а я записала потом, — первый мой прокол за день, но не последний.

— Уважаемая Бухгалтер, — произнёс господин Репа с поклоном, выверенным до градуса. — Честь имею уведомить: вы являетесь последней родственницей давно почившего боярина Севастьяна Пеплищева, рода Пеплищевых, столбовых. Будьте любезны принять наследство.

Я моргнула. Дважды.

Во-первых — родственницей. У этого тела, у моей безымянной, беспаспортной, бзушной девчонки девятнадцати-двадцати лет на вид, обнаружилась родня. Была семья. Был род. Мир

только что выдал мне первичные документы на самый тёмный актив моего баланса — и сделал это, как делает всё: буднично, с поклоном, через поверенного.

А во-вторых — Пеплищевы.

Эту фамилию я знала. Три года знала — с первого своего обхода кладбища, с ярмарки вакансий на могильных досках. Третий ряд, чуть осевший холмик: «Глафира, вдова. Прислуга в доме Пеплищевых. Обязанности: всё. Оплата: честь служения древнему роду (частично — овощами)». Я тогда ещё сострила — вслух, с удовольствием, на весь пустой погост: «Господа Пеплищевы, у меня для вас плохие новости: ваш финансовый директор — репа».

Мир записал. Мир, как выясняется, — злопамятный аудитор с отличной картотекой: три года спустя репа явилась лично. С чемоданчиком, с поклоном, с поверенным статусом — и оформила мне наследство тех самых Пеплищевых, полностью подтвердив мой давний финансовый анализ. Я пророчица, господа. Заносите в прейскурант.

Род Пеплищевых пресёкся — давно, глухо и, судя по тому, что о нём не помнила даже Веслава, не своей волей: что стало с роднёй конкретно, из мира вычищено вместе с именами, почерк знакомый. Я — последняя. Точнее, последняя — она, прежняя жилища этого тела, а я — правопреемница по факту заселения. И да: Глафира, прислуга их дома, лежит на моём погосте, я мимо её холмика три года хожу на работу. Вакансия «обязанности: всё» висела при доске незакрытой всё это время. Теперь, полагаю, закрылась: с сегодняшнего дня «всё» в этом доме — снова обязанность рода. То есть моя.

Бумаги я подписала там же, у сторожки, на чемоданчике господина Репы, — пером, которое он подал, чернилами, которые не пачкали, под окно, которое развернулось вверх всего:

Наследство принято

Род: Пеплищевы. **Статус:** последняя в роду

Титул рода: боярский (спящий)

«Спящий» титул — это я тоже записала. У нас тут всё спящее рано или поздно просыпается, такая специфика региона.

А господин Репа собрал бумаги, щёлкнул чемоданчиком, отсалютовал мне двумя пальцами от несуществующей шляпы — «счастливо оставаться, боярыня» — развернулся и ушёл в закат.

Буквально. Я потом читала доклады сети и мрачнела с каждым листом: двадцать теней по периметру, лучшая наружка двух миров, — и ни одна не смогла проводить его дальше третьего плетня. Шёл человек с чемоданчиком, шёл, шёл — и не стало человека с чемоданчиком. Сеть, по выражению Гонца, «обломала уши и хвост»: ни следа, ни запаха, ни двери. Поверенные, которых не видит моя сеть, — это новый пункт в моём списке бессонницы, и пункт этот я подчеркнула.

Аркадий Львович вернулся в игру к вечеру — и узнавал новости в хронологическом порядке, что оказалось для него особенно мучительно.

У Аркадия Львовича не бывает давления. Сорок один год наблюдений — суды, маскишоу, три рейдерских захвата и девяностые целиком: не бывает, и всё, кремень в оправе. Но в тот вечер, свидетельству как очевидец, немножко поднялось.

Узнавал он по нарастающей: судьба в тот вечер подавала ему новости строго по ступеням.

Ступень первая: пока таймер держал его снаружи, мы без его ведома встретились с богиней. Сам факт: учредительное собрание, явившееся божество — и ноль юридического сопровождения в помещении. Уже здесь у него дрогнула оправа.

Ступень вторая: на этой встрече мы ещё и подписались. На непонятно что: выслушали сведения, меняющие картину двух миров, приняли из рук божества артефакт неустановленного действия, приняли задачи — и, по совокупности, приняли обязательства. Устно. Без протокола. Без единой юридической визы.

— Вы заключили сделку с богом, Елена Викторовна, — сказал он, снимая несуществующие очки. — Я сорок один год страховал вас от сделок с людьми. С людьми, заметьте. А здесь я даже не знаю, в какой суд подавать в случае чего.

Это было большое. И большое он, надо отдать должное, выдержал: побелел оправой, но выдержал — кремень есть кремень, на этом кремне держалась половина моей империи.

А потом он узнал ещё и про малое. Про наследство: Репа, перо с поклоном, подпись у сторожки — снова, снова без него. И вот это малое, судя по всему, легло последним ударом по гвоздю в крышку гроба его терпения.

— Вы. Подписали. Акт о принятии наследства неустановленного объёма. От неустановленного лица. Без правовой экспертизы. Без описи на руках. Без. Меня, — каждое слово он клал на стол отдельно, как кладут улики. — Так поступают дилетанты. Восторженные дилетанты на первой в жизни сделке. Личный юрист существует ровно для таких встреч — для встреч, где вам с поклоном подают перо!

В этом, если вдуматься, весь Аркадий Львович. Сделку с богом он готов оспаривать — засучив рукава, с азартом: прямо слышно было, как у него в голове шелестят прецеденты. А вот перо с поклоном без юриста — вот этого его сердце вынести не смогло.

И ведь прав. Кругом прав — и по большому счёту, и по малому, — за что я и получила по полной, стоя посреди собственного нового кабинета, как студентка на пересдаче. Обидно было до звона. Столько лет живу — дважды, между прочим, — и такие фортели. То ли молодое тело действует на мозги, растворяя критичность, то ли, простите за медицинский термин, пятая точка после трёх спокойных дней начинает требовать приключений. Склоняюсь к комплексной причине.

Аркадий Львович поорал — вернее, по-своему поорал: три градуса ледяности сверх обычного, — и день со мной не разговаривал. Потом отошёл. Он всегда отходит: во-первых, обижаться на меня бесполезно, это знают оба мира; во-вторых, он меня знает сорок один год и знает главное — меня надо контролировать. Он на этом, собственно, и выслужил свой стаж.

— Помните девяносто седьмой? — сказал он вечером, уже мирно, за отваром. — Поглощение. Непонятный актив, продавец без биографии, вы подписали протокол о намерениях в бане, не дождавись меня из аэропорта.

— Актив, между прочим, вышел хороший, — заметила я.

— Актив вышел хороший, — согласился Аркадий Львович. — И контракт заключили неплохо. Ну, подумаешь, перестрелка на подписании. Ну, подумаешь, поножовщина при передаче печатей. Ничего страшного: все остались живы. — Пауза, глоток, ровный взгляд поверх оправы. — С нашей стороны.

Мы помолчали, каждый о своём хорошем.

— А теперь, — сказал он, и голос сел на рабочую частоту, — назревает нечто похуже девяносто седьмого. Наследство, которое находит наследника само. Поверенный, которого не видит ваша сеть. Титул, который «спит». Я изучу каждую букву этой грамоты, Елена Викторовна. И до конца изучения — умоляю: никаких перьев с поклоном.

Штаб мы перевели в особняк за три дня.

Дом оказался добротным до неприличия: сухие погреба, дубовые полы, печи, которые растопились с первой спички, будто ждали, и кабинет — тот самый, с дубовым столом, размером не меньше моего прежнего, из той жизни, где под окнами был город в стекле, а не город в частокоте. Я поймала себя на том, что села за этот стол как в старое кресло: спина сама вспомнила осанку.

Сторожку не бросили — переоформили. Теперь на ней две вывески: старая «Достанем из-под земли» и новая, казённая: «Бюро поиска тел». Туда сели двое из молодого пополнения: один из юристов-протезе Аркадия Львовича — вести договоры, клятвы и претензии — и аудитор.

Про аудитора скажу отдельно, потому что меня уже спрашивали — Стас спрашивал, честно наморщив лоб, — зачем в похоронном бюро аудитор и что это вообще за зверь.

Объясняю, как объясняла ему. Аудитор — это человек, который проверяет, совпадает ли написанное с действительным. Вся его профессия — сверка: вот отчёт, а вот реальность; вот опись, а вот склад; вот подпись, а вот рука, которая её ставила. Найти расхождение, вцепиться, размотать. В обычном мире это скучнейшее из ремёсел, и платят за скуку хорошо.

А теперь примерьте это ремесло на мир, где из книг вынимают слова, с камней стирают имена, а из тел — жильцов. На мир, где главное оружие противника — расхождение между написанным и действительным.

Правильно. В этом мире аудитор — не бухгалтерия. В этом мире аудитор — контрразведка. Мой сидит в бюро, принимает заказы на розыск тел, а параллельно, по моему личному заданию, сверяет всё, что попадает в руки: тетради, грамоты, межевые книги, купчие. Ищет гладкие места. Ведёт реестр расхождений. За первую неделю нашёл четыре — и про одно из них будет отдельная глава, помяните моё слово.

Кадровый вопрос в бюро, к слову, решился сам — и решился так, что я два дня переваривала.

Офисов у нас теперь два, приёмных — две, и одной мухи на обе физически не хватало. Я собиралась заняться этим на неделе. Секретарь занялась раньше. Плановая ревизия моего резерва тьмы показала недостачу — дневную норму, объём, которого хватило бы на подъём двадцати скелетов с последующим содержанием, — и след недостачи вёл на потолок. Секретарь, ни разу меня не ткнув и ничего не согласовав, оформила себе премию. На пузико. Отожралась моей тьмой до состояния зелёно-красной, глянцевой, начальственной мухи с личным резервом — и зажила, если можно так выразиться, сама по себе: сама подняла младший секретарский состав, сама расставила его по приёмным, сама, судя по докладам сети, проводит собеседования. Штат за неделю — четыре мухи младшего звена, по две на офис, все вышколенные, у каждой свой колокольчик.

Я оценила ущерб. Оценила результат. И утвердила премию задним числом: люблю, когда всё работает без меня, — лень, как известно, двигатель прогресса. Правда, прогрессировать нам ещё есть куда, причём во все стороны сразу, так что лень нам пока только снится.

Семейный разбор наследства провели тем же вечером, в новом кабинете, полным составом.

Обсудили всё: Пеплищевых, Репу, спящий титул, дыру в наружке. Решений приняли три, вопросов записали двадцать. А потом случилось то, что я, как мать, зафиксировала боковым зрением и отдельным протоколом.

Павел уходил в задумчивости — это его штатное состояние, не показатель. А вот Даша... Даша поднялась, свернула свои заметки, взяла Стаса за ухо — буквально, двумя пальцами, как берут нашкодившего кота — и сказала:

— Ты. Со мной. Встретимся лично и обсудим. В реале.

И увела. За ухо. Стас шёл покорно, слегка боком, и уши у него горели оба — включая свободное.

Мы с Павлом переглянулись. Молча. С одинаковым выражением, я полагаю, потому что думали одно: созревает. Ох, созревает. Многолетний висяк моей дочери — тот, с алтарём, фатой и «банкет оплачен, гуляйте», — кажется, наконец-то выходит на стадию завершения квеста. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо, по всем правилам моей новой профессии.

Давно пора ей. Замуж — давно пора. Внуков не требую, пусть сами разбираются — время у них, к счастью, есть: с медициной нынче так, что разбираться можно хоть до шестидесяти. Году в тридцатом там, снаружи, случился большой прорыв, и всем, кому было в ту пору плюс-минус тридцать, так плюс-минус тридцать и оставили — растянув лучшие годы ещё лет на двадцать. Нынешняя «молодёжь» и в сорок пять молодёжь, по паспорту и по коже. Это нам,

кто встретил прорыв за порогом полтинника, не повезло: наши организмы были уже честно убиты девяностыми и двухтысячными, поздно было консервировать. А у этих — всё впереди. У Даши с её сорока — впереди. У балбеса с его тридцатью восемью — тем более.

Так что пусть разбираются. Мать понаблюдает. Скрупулёзно — слово года.

Поздно вечером я осталась в кабинете одна.

За окном лежал двор — мой теперь двор, боярский, с колодцем, службами и старым садом вдоль южной стены. Я смотрела на него, перебирая браслет, и уже собиралась закрыть дверь, когда взгляд зацепился.

В глубине сада, у самой стены, стояло дерево. Старое, кряжистое, в полтора обхвата — я в деревьях не сильна, но это узнала по силуэту, по развалу ветвей, по тому, как оно стояло: хозяином.

Груша.

У меня в реестре, на странице лича, с двадцать восьмой главы моей здешней жизни лежит одна-единственная крошка его памяти: «У храма был двор. И в нём росла груша».

Совпадений не бывает. Я это говорила уже дважды и оба раза оказывалась права.

Я записала грушу в реестр — красным, с тремя вопросами: чей это дом на самом деле, что за род такой Пеплищевы, при котором служат казначеи и растут чужие воспоминания, и почему первичные документы на моё тело доставили именно сейчас — и именно так быстро.

Реестр, том второй, страница первая.

Работаем.



Глава 2. Четыре расхождения

Аудитор постучал в мой кабинет утром четверга — с папкой, с лицом человека, нашедшего то, что искал, и с той особенной сдержанной осанкой, по которой я в прежней жизни безошибочно отличала хорошие новости от очень хороших.

Про аудитора пора сказать подробнее, он заслужил. Сухонький человечек лет пятидесяти на вид, чернокнижник шестого уровня по классу — ирония судьбы, о которой он отзывается философски: «тému я и раньше находил, только называлась она иначе». В прошлой жизни — тридцать лет аудита, три отозванные лицензии у чужих банков, две попытки подкупа и одна попытка наезда, после которой попытавшиеся сами пришли извиняться. В капсулу залез «отдохнуть от цифр». Отдохнул: на четвёртый день пребывания в моём регионе был опознан, завербован и усажен в бюро — сверять написанное с действительным. Работу свою он делает так, как делают её люди, которым она вместо сердца.

— Четыре, — сказал он вместо приветствия и положил папку на дубовый стол. — Четыре расхождения за неделю, госпожа Бухгалтер. По возрастанию интересности. Докладывать?

Я отодвинула всё. Абсолютно всё. Есть слова, после которых расписание умирает без мучений, и «расхождение» — первое из них.

— По возрастанию, — сказала я. — И с выездом на объекты. Люблю смотреть на расхождения лично.

Расхождение первое значилось в межевой книге.

Родовая грамота Пеплищевых, лист седьмой, перечень строений усадьбы: «...амбары хлебные — два, конюшня о шести денниках, баня белая, часовня домовая при саде...» Часовня домовая. При саде.

Мы прошли сад весь, от ворот до южной стены, с грамотой в руках, как ходят приёмочные комиссии. Амбары — есть, оба. Конюшня — есть, денников шесть, сеть уже присмотрела её под костяных псов. Баня — есть, и, судя по докладу Стаса, отменная. Часовни не было.

Вернее — не было часовни. А было место.

У южной стены, шагах в десяти от старой груши, в зарослях одичавшей смородины, лежала площадка. Ровная. Гладкая. Камень основания, стёсанный не инструментом и не временем — вылизанный до той самой полированной глади, которую я узнаю теперь с закрытыми глазами, потому что видела её на камне за оградой, на странице тетради и на жернове в чужом сне. Часовню не разобрали и не сожгли. Часовню вынули — с фундаментом, с именем, с самим фактом, — а межевую книгу вычистить забыли. Или не смогли: книга лежала в невидимом слое, у старосты, под его вечным писарским почерком.

— Первое расхождение, — сказал аудитор с удовлетворением хирурга, нашедшего опухоль на снимке. — Написано — есть. По факту — гладко.

Я стояла на краю выглаженной площадки и смотрела на грушу. Десять шагов. Домовая часовня Пеплищевых стояла в десяти шагах от дерева, которое помнит мой лич, не помнящий собственного имени.

В реестр. Красным. Дважды подчеркнуть.

Расхождение второе ждало в погребѣ, и оно мне понравилось особенно — люблю материальные несоответствия, их можно потрогать.

Наследственная опись, раздел «погребѣ винные»: «бочек вина столового, дубовых, сорокаведерных — сорок». Аудитор, принимая хозяйство, пересчитал лично. Дважды. Со свечой и мелом.

Тридцать девять.

Сороковой бочки не было — а было место, где ей положено стоять: последняя ниша дальнего ряда. И ниша эта была заложена. Кирпичом. Аккуратной, плотной, мастеровитой

кладкой — которая, по оценке нашего кузнеца, приглашённого как эксперт по всему твёрдому, была моложе остального погребца лет на двести. То есть: опись составили, сорок бочек стояло — а потом, сильно позже, кто-то пришёл в чужой мёртвый погреб и заложил одну нишу. Бочку он вынес или замуровал в нишу — вопрос. И если замуровал — с содержимым или без.

Стас, приложив к кладке ухо и Чутьё, доложил: за кирпичом пустота. Большая. Больше бочки.

— Вскрываем? — спросил он с надеждой.

— Вскрываем, — сказала я, и надежда расцвела, — после того, как здесь отстоят сутки двое часовых, лич осмотрит кладку на предмет печатей, а юрист составит акт вскрытия с понятиями. Мы в этом доме — неделя. В этом доме до нас двести лет что-то замуровывали. Порядок вскрытия чужих тайников я усвоила ещё в банковском деле: сначала бумага, потом лом.

Ниша встала под охрану. Ожидание, как выяснится, того стоило — но об этом в свой черёд, потому что третье расхождение смяло все графики.

Третье расхождение аудитор приберегал, как приберегают козырь, — и выложил его в кабинете, разложив на столе два документа.

Первый: родовая грамота. Последняя запись рода — дата смерти боярина Севастьяна Пеплищева, «на коем род пресёкся». Год, по местному летоисчислению, вполне конкретный.

Второй: копия надписи с могильной доски. Той самой, с моего погоста, третий ряд, осевший холмик: «Глафира, вдова. Прислуга в доме Пеплищевых». И дата смерти.

Аудитор положил бумаги рядом и постучал пальцем по датам.

Глафира умерла на сорок с лишним лет позже, чем пресёкся род, которому служила.

Я смотрела на две даты, и у меня по хребту шёл знакомый рабочий холод — тот самый, с которого начинались все лучшие расследования моей жизни. Прислуга не служит пустому дому сорок лет. «Обязанности: всё» не пишут на могиле человека, который сорок лет вытирал пыль с мебели покойников. Прислуга служит кому-то. Значит, все эти сорок лет — после официального, задокументированного, гербового пресечения рода — в доме Пеплищевых кто-то жил.

Тихо. Скрыто. Не для бумаг.

И Глафира — вдова, «обязанности: всё» — служила этому кому-то до собственной смерти. А потом легла на общий погост, под честную доску, унеся «всё» с собой.

— Крыло прислуги, — сказала я, поднимаясь. — В доме такого размера оно обязано быть. Комната Глафиры — найти. Немедленно.

Крыло прислуги нашлось за поварней — низкий тёплый коридор, шесть каморок, пять из которых стояли пустыми и безликими, как стоят комнаты, чьих жильцов вынули начисто.

Шестая была жилой.

Не «обитаемой» — жилой в том смысле, в каком бывает жилым место, где человек прожил всю жизнь и вышел на минутку. Узкая кровать под лоскутным одеялом, выцветшим до акварели. Сундучок в изголовье. Лампадка в углу — пустая, но ухоженная, с обтёртым носиком. Пучки трав над печуркой, высохшие в пыль, но подвязанные ровно, хозяйской рукой. И чистота — та вековая, впитавшаяся чистота, которую не наведёшь разово, которую можно только выслужить.

Мы стояли на пороге втроём — я, Аркадий Львович и аудитор — и не входили. Есть комнаты, в которые не входят с ноги.

— С вашего позволения, — сказал наконец Аркадий Львович, и вошёл первым — как входят к свидетелю, а не на обыск.

Сундучок открылся без замка. Внутри лежало имущество всей жизни: смена белья, праздничный платок, катушка ниток с иглой, воткнутой в бумажку, потемневший гребень. Молитвенник — я взяла его в руки первой, и сердце дёрнулось: половина страниц глядела

гладкими пятнами, из книги были вынуты слова, много слов, целыми абзацами. Глафира молилась вычеркнутому — до конца, по книге, из которой на её глазах исчезала молитва.

А на самом дне, завёрнутые в холстину — отдельно, бережно, как заворачивают самое, — лежали весы.

Малые. Ручные. С ладонь размером: коромысло, две чашечки тонкой работы и цепочки — небольшие, аккуратные, такой длины, чтобы носить на шее или держать в руке на весу. Я подняла их к свету — и почувствовала, как у меня останавливается дыхание, профессионально, на вдохе.

Весы были чёрно-белыми.

Не покрашенными — сущностно: одна чашечка из белой кости, вторая из чёрной, коромысло — в переход, от света к тьме, без границы. Та же двухцветная логика, тот же почерк, то же ведомство, что на моём браслете: я вытянула запястье, приложила рядом. Родня. Ближайшая. Череп с нимбом на моей руке и весы из каморки прислуги были сделаны если не одной рукой, то в одной мастерской.

У прислуги. У вдовы с оплатой овощами. В сундучке под лоскутным одеялом.

— Кем же ты была, Глафира, — сказала я вслух, потому что такие вопросы положено задавать вслух, — что тебе доверили вот это?

А потом весы взял Аркадий Львович — просто взял посмотреть, профессиональным жестом, каким берут вещдок.

И весы засветились.

Мягко, изнутри, обеими чашечками разом — белая тёплым, чёрная глубоким, — и качнулись у него в пальцах, ловя баланс, как ловит стрелка компас. Он замер. Мы замерли. Свечение постояло и ушло, но весы в его руке продолжали еле заметно, живо подрагивать — узнавая.

— Это по моей части, — сказал Аркадий Львович тоном, не предполагающим прений. — По профессии. Конфискую до выяснения.

И повесил цепочки на шею — «в руках носить неудобно», — убрав весы под ворот, к груди.

Знали бы мы все, чем это кончится к вечеру.

Четвёртое расхождение аудитор доложил уже в дверях, почти скороговоркой, как докладывают то, от чего сами хотят отделаться:

— И последнее. Устав гильдии. Я сверил подписи со списочным составом — просто для порядка, я всегда сверяю. Списочный состав на день сверки — тысяча сорок два разумных. Подписей под уставом — тысяча сорок три.

— Кто-то подписался дважды.

— Нет. Все подписи уникальны. Одна — лишняя: есть подпись, нет разумного. Почерк ничей, чернила общие, клятва... — он замялся, — клятва её приняла, госпожа Бухгалтер. Устав считает подписавшего действительным членом гильдии. Я не могу его найти. Никто его не помнит. Но он — в списке.

В комнате стало на градус холоднее, и это не метафора: Гонец на моём плече привстал столбиком, глядя в никуда.

— Гриф «особо», — сказала я ровно. — Копию подписи — мне, личу и Веславе. Стас — экспертиза чернил и бересты. Никому ни слова. У нас в гильдии, судя по всему, тысяча сорок третий участник, который вступил, не существуя. Хочу знать, кто он, раньше, чем он захочет познакомиться сам.

А вечером случилось посвящение, и я прошу занести в протокол: к посвящению никто из нас не готовился, не стремился и разрешения на него не подписывал. Оно случилось само — как случается в этом доме, похоже, всё главное.

Аркадий Львович возвращался через двор из бюро — обычным маршрутом, обычным шагом, с весами на шее под воротом. Маршрут проходил мимо груши.

И на пятом шаге от дерева весы утонули у него в груди.

Я видела это из окна кабинета — и до конца дней буду помнить покадрово. Он остановился, как останавливаются от пули. Схватился за ворот. Ворот полыхнул изнутри чёрно-белым — резко, во всю грудь, сквозь ткань, — и мой юрист, мой нестигаемый шестидесятипятилетний кремь, закричал. В голос. Так, как не кричал ни на одном процессе, ни в одном подвале девяностых, — и рухнул на колени посреди двора, вцепившись в грудь, из которой било свечение.

Дальше я помню себя уже во дворе — не помню лестницы, не помню двери. Помню, что орала «ВЕСЛАВУ СЮДА!», помню, как сеть взорвалась тревогой по всем постам, помню лича, перемахнувшего забор полигона одним костяным прыжком. Помню, как держала Аркадия Львовича за плечи, а его выгибало, и свет ходил под кожей груди волнами, по контуру, выжигая, — и помню единственную мысль, которая билась во мне, отменяя все остальные, ледяная и бухгалтерски точная:

он умирает — здесь? Или там?

Потому что если здесь — это боль, откат, лечение, у нас есть Веслава и груша. А если там — если этот крик сейчас слышит пустая московская квартира, где в капсуле лежит одинокое шестидесятипятилетнее тело с сердцем шестидесятипятилетнего человека, — то я второй раз в жизни присутствую при том, при чём присутствовать нельзя. Валерьянки мне. Ведро.

Веслава пришла через минуту — вернее, пришла она как жрица, а добежала как громбаба, подобрав бархат до колен. Оценила картину одним взглядом, села, положила ладони Аркадию Львовичу на грудь поверх свечения — и свечение послушалось. Осело. Втянулось. Уложилось под кожу — медленно, нехотя, как укладывается зверь, — и мой юрист обмяк у меня на руках, дыша рвано, но дыша. Здесь. И, судя по спокойному лицу Веславы, — и там тоже.

— С посвящением, — сказала Веслава.

— Что?! — спросили мы хором, включая лича.

— С посвящением, — повторила она и поднялась, отряхивая бархат. — Больше не скажу. Не потому что не хочу — не помню больше. Знаю, что это оно. Знаю, что выживают. Остальное — вынута, — она коротко, зло глянула на гладкую площадку в смородине, — вместе с часовой.

Аркадий Львович очнулся через четверть часа, на лавке, под тремя одеялами и моим неусыпным надзором. Первым делом попросил воды. Вторым — зеркало.

Третьим он расстегнул ворот, и мы увидели.

Во всю грудь, от ключицы до ключицы, лежала татуировка. Массивная, глубокая, чёрно-белая: весы. Коромысло по линии ключиц, цепи по рёбрам, две чаши — тёмная над сердцем, светлая напротив, — и исполнено это было с такой точностью и таким мастерством, что любой тату-салон обоих миров закрылся бы от бессилия.

Я, признаюсь, отреагировала не вполне профессионально. Во-первых — я поймала себя на том, что краснею. Как девчонка. Тело девятнадцати-двадцати лет отреагировало на зрелище раньше, чем шестидесятитрёхлетний разум успел подписать протокол: Аркадий Львович, надо сказать, передо мной за сорок один год ни разу не раздевался, и выяснилось, что зря... кхм. Вычеркнуть. Не вычёркивать. Ладно, оставить с грифом.

А во-вторых — и вот это уже по существу: когда он повернулся к свету, весы на его груди качнулись.

Не игра тени. Не игра мышц — я специально смотрела ещё минуту, не мигая, с трёх ракурсов. Чаши татуировки медленно, живо колебались — вверх-вниз, на волос, в собствен-

ном ритме, не совпадающем ни с дыханием, ни с сердцем. Татуировка взвешивала. Что — неизвестно. Но процесс шёл.

Над Аркадием Львовичем висело системное окно — скромное, без фанфар:

Посвящение принято Судия — при Весах

— Любопытно, — сказал Аркадий Львович слабым голосом, разглядывая собственную грудь. — Крайне. Елена Викторовна... я ведь теперь, по всей видимости, первый в истории юриспруденции специалист, у которого инструмент правосудия встроен несъёмно. Знаете, что это означает?

— Что?

— Что меня больше нельзя разоружить, — сказал он и улыбнулся так, что я поняла: жить будет. И судить — тоже.

Последствия посвящения посыпались в ту же ночь, и сыпались неделю.

Первым ожил храм. Тот самый, перевёрнутый, с выправленными весами: часовые дожили на рассвете, что во всех ярусах сами собой зажглись лампадки — сотнями, разом, тёплыми рядами уходя в глубину. А то, что прежде шарахалось по краю зрения в тенях залов — полупрозрачное, недоговорённое, — за ночь стало физическим. В храме появились насельники: монах — один, прислужник — один, жрец — один. По штуке каждого, как первые оттиски с вернувшихся матриц: молчаливые, спокойные, с пустой памятью и верными руками — они мели ярусы, правили лампадки и кланялись входящим так, будто те вернулись из долгой отлучки.

К храму потянулся народ. Сначала наши жители — осторожно, с оглядкой, с прадедовской памятью в руках вместо личной. Потом игроки — толпой, за контентом. И каждому входящему система разворачивала задание:

Вступление и преклонение Принять покровительство культа Безымянного (рекомендуется)

Формально — добровольно. Фактически — как сформулировал Пирожок, быстро ставший в этом вопросе экспертом, «не вступишь — могут вышвырнуть из игры на подумать»: пара самых принципиальных отказников словила суточный лок капсулы с формулировкой «конфликт подданства», и очередь на преклонение выросла втрое. Мы, тёмные, записаны в культ автоматически, скопом, — а раз в культе, то извольте признавать: большого Безымянного и малых, «состав которых уточняется».

Малый в составе пока один — Шутник. Штат последователей — одна штука, наш Постник: других извращенцев, как выразилась Даша, не нашлось. Желающие, впрочем, появляются регулярно: канал Постника с Веславой и жрицами в кадре искушает стабильно, — но на этапе ознакомления с условиями сана — полное, пожизненное, освящённое воздержание — соискатели бледнеют и уходят в рыцари смерти. Перспектива остаться девственником навсегда пугает нынешнюю молодёжь сильнее любого высшего демона. Времена, конечно, изменились: в моё время пугали ипотекой.

А вторым ожило дерево.

Груша — та самая, кряжистая, у южной стены — зацвела. В одну ночь, вне сезона, вся разом: утром двор стоял в бело-розовой пене, и пахло так, что зомби-стройбат сбивался с шага. К вечеру цвет опал. К следующему утру на ветвях висели плоды.

Груши. С виду — груши как груши, наливные, в тёплую крапинку. По осмотру — «Плод старого сада. Восстанавливает: всё». Всё. Без уточнений. Мы провели испытания по протоколу — на добровольцах из десятки Пирожка, под записью и присмотром Веславы: плод возвращал ману досуха выпитому чернокнижнику, ставил на ноги выжатого суточной сменой десятника и по совокупности тянул на великий эликсир из легенд, который в лавках не продаётся, потому что его не бывает.

У нас он рос на дереве. В количестве.

Первый плод, к слову, никто не срывал: когда Аркадий Львович, ещё слабый, вышел на другой день во двор — груша уронила ему плод в ладони. Сама. Точно в руки, с полупоклоном ветви. Он посмотрел на дерево, на плод, на меня — и съел, не задавая вопросов: после посвящения, сказал он, глупо привередничать к угощению.

С усадьбой, записала я в реестр вечером, не всё так просто. Формулировка года, конечно. Задумываемся сильнее.

А всерьёз задуматься пришлось уже через сутки — когда Аркадий Львович вышел из капсулы в реальный мир.

Вышел, доложил по протоколу, отправился по обычным утренним рыльно-мыльным делам — банально помыться после сна. И из ванной позвонил Павлу голосом, которого Павел, по его словам, у него не слышал никогда.

Татуировка перешла.

В реальный мир. На реальное, шестидесятипятилетнее, юридически безупречное тело: во всю грудь, от ключицы до ключицы, чёрно-белая, чёткая, будто набитая годами, — весы. И — Павел клялся, что проверял при хорошем свете, — чаши её и там, в мире стекла и бетона, еле заметно покачивались.

А дальше Аркадий Львович — дай бог ему долгой жизни и здоровой памяти — провёл над собой полный аудит. Скрупулёзно, перед зеркалом, с актом осмотра, потому что иначе он не умеет. И акт показал следующее.

Шрамы исчезли. Все. Две дырки от девяносто третьего года — на плече и под ребром, память о переговорах, которые пошли не по регламенту, — исчезли, как не было. Рубец от арматуры двухтысячного — исчез. След от операции на желчном — исчез. Кожа на месте полувековых отметин лежала ровная, новая, наглая.

И седина — благородная, выслуженная, серебряная седина, за которую он в приличном обществе получал скидку на уважение, — начала темнеть. От корней. Уверенно.

Груша. «Восстанавливает: всё» — без уточнений и, как выяснилось, без границ между мирами.

Дальше наш юрист действовал так, как действует юрист: последствия — под контроль, легенду — в оборот. В то же утро на дом был вызван парикмахер — и вся голова целиком легла под ровную благородную краску. Чёрную. Логика юридически безупречная: раз уж темнеет — пусть темнеет легально. Не прятать процесс, а возглавить: когда своё дотемнеет до цвета краски, подмены не заметит никто. На работе, в конторе, была запущена версия: решился наконец на процедуры. Подтяжка, омоложение, «новые технологии, коллеги, в наши годы лишним не будет» — версия скучная, статусная, никем не проверяемая: половина партнёров его возраста делает то же самое, вторая половина врёт, что не делает.

— Если так пойдёт дальше, — сказал он мне вечером на разборе, — врать придётся много. Значит, врать надо хотя бы более-менее правдиво, системно и заранее. Предлагаю утвердить протокол: для каждого из нас — своя легенда прикрытия обратных эффектов. Медицина, косметология, санаторий, спорт. Потому что тату и лицо — это, судя по всему, только начало. Раз мы вынесли оттуда это — возможность выноса не теория. Возможность имеется. И её надо обходить организованно.

Протокол утвердили единогласно. Даша вызвалась писать легенды лично — «наконец-то моя профессия пригодилась семье официально».

И вот на этом месте Даша, до того молчавшая полсовещания, положила на стол свои раскопки — и совещание село на второй круг.

Она, напомним, всё это время копала литературу по осознанным сновидениям — от нейрофизиологов до текстов с проклятием вместо выходных данных. И среди прочего — Каста-

неда и иже: целый пласт про то, что миры сновидцев — места, а не состояния. А ещё, сказала она, был у неё в своё время выход на живое сообщество — «хакеров сновидений», людей, которые десятилетиями практиковали осознанные выходы всерьёз, с картами, техниками и терминологией.

— Я с ними встречалась, — сказала Даша. — Лично, дважды, ещё до игры — материал собирала для роли. И они мне тогда на полном серьёзе говорили: из тех мест можно выносить. Предметы. Свойства. «Подарки», как они выражались. Я слушала и кивала, потому что выглядело это... ну, как выглядело: люди с горящими глазами, у которых из подтверждённых выносов — только диагнозы из дурки. Ничего предъявить не могли. Никто и никогда.

Когда пришла игра, продолжала она, сообщество сдулось за год: у кого были деньги — ломанулись в капсулы и растворились в «Пантеоне», наслаждаться процессом; остались безденежные да те, кто «ходил другими маршрутами». На форумах доживающего сообщества тема «вынести из игры» всплывала регулярно — и регулярно умирала: не получалось ни у кого. Ни предмета, ни царапины, ни лишнего волоса.

— А теперь смотрите, — Даша обвела нас взглядом, и голос у неё встал в тот самый регистр, от которого замолкают залы. — Тату — есть. Вот она, на груди у Аркадия Львовича, покажет по запросу. Изменения тела — есть, задокументированы актом. Значит, «вынести можно» — больше не бред сумасшедшего. Это подтверждённый факт. А из факта следует вилка, и она мне не нравится.

Вилка была такая, и я записала её в реестр её же словами, потому что точнее не скажешь.

Сторона первая, плюс: выносить можно — значит, можем мы. Здоровье, свойства, инструменты. Актив невиданной ценности, монополия на который дороже всей корпорации вместе с капсулами.

Сторона вторая, минус, жирный: если смогли мы — за пару месяцев, случайно, об грушу, — то враги, у которых была фора в годы и полный доступ, вынесли давно. И вынесли, надо полагать, побольше нашего.

И тогда встают три вопроса, которые я вывела в реестре красным, столбиком, на отдельном листе:

Где конкретно эти враги находятся?

Что именно они уже вынесли?

И что нам со всем этим делать?

А под столбиком, помолчав, я дописала четвёртую строку — мелко, для себя, потому что она пока не факт, а холодок между лопаток. Моё сердце остановили дистанционно. Через капсулу, без яда, без следа, способом, которого не знает медицина того мира. Почти год я называла это «неустановленным способом».

Кажется, я начинаю понимать, из какого мира этот способ был вынесен.

Поздно ночью я сидела в кабинете одна и сводила недельный акт сверки.

Написанное с действительным сходилось плохо — и это была лучшая новость недели, потому что каждое несхождение было ниточкой, а я знала, как за неё потянуть. Часовня, вынутая с фундаментом, — в десяти шагах от груши. Замурованная ниша — под охраной, вскрытие по протоколу. Глафира, служившая пустому дому сорок лет, — и её весы, нашедшие хозяина сами. Подпись тысяча сорок третьего — под грифом. Татуировка, которая взвешивает. Груша, которая платит по счетам через миры. И враги, которые начали выносить раньше нас.

Я закрыла реестр, посмотрела в тёмное окно — на двор, где белела в темноте осыпавшимся цветом груша, — и подвела итог недели одной строкой, как учили меня сорок лет балансов:

действительное оказалось больше написанного.

Значительно больше. Продолжаем сверку.



Глава 3. Голем

Я сидела в кабинете, перебирала браслет и смотрела в окно — на двор, на грушу, на смену зомби, волокущую брёвна к новой конюшне, — а Консультант отчитывался. По полной форме, по всем подразделениям, с выправкой и цифрами: гарнизон, полигон, разведка, потери, приход. Отчитывался он теперь отменно — должность обязывала, буква Р вдохновляла.

А я его прослушала. Не из неуважения — задумалась: сильно, глубоко и нехорошо. Мысли лезли всё те же, тяжёлые — костёр, советники, оборванное «они давно могли выйти к ва...», — и под эти мысли доклад шёл мимо меня, как дождь мимо окна.

Лич невнимательность заметил. Помолчал, выдержал паузу военного образца — и, не выдержав, спросил в лоб:

— Некромант. Ты за вторым томом собираешься? Или мы тут будем усадьбу обживать, пока светлые крепнут?

И вот тут меня прошибло — стыдом, холодным и полезным, как контрастный душ.

Он был прав. Мы две недели разгребали бардак: наследство, расхождения, посвящение, груша, тату, Кастанеда. Всё важное, всё в реестр — но всё это время маркер второго тома висел на моей карте немим укором, у самой кромки серой зоны, а светлые по ту сторону горизонта крепили. На вере, на миллионах, на подписке. Мы копались в родовых погребах — они растили армию.

— Собираюсь, — сказала я. — Объявляю подготовку к походу. Спасибо за одёргивание, советник. Премия будет.

— Премия, — сказал лич с достоинством, — прошу выдать распоряжениями. Я ими питаюсь.

Готовились скрупулёзно — слово года отработывало себя в десятый раз.

Команда моя пока находилась в реале и решала реальные проблемы; я отправила им через охрану короткое: следующее наше действие в игре — поход, по готовности, полным составом. Сама тем временем собирала обоз: мешки-нетленки под провизию двойной закладки, лагерные свёртки, зелья всех мастей — глубинный отвар само собой, плюс вся линейка жены мельника, — жгуты, боекомплект, запасные наконечники. В такой поход берут всё, что можно, и всё, что нельзя: нельзя — оно, по моему опыту, пригождается первым.

Веслава пришла накануне вечером и молча положила на стол стопку накидок — тёмных, беззвучных, тех самых, что лежали в наградном сундуке. Ещё несколько штук, откуда — неясно.

— Зачем? — спросила я.

— Так надо, — сказала верховная жрица тоном, закрывающим прения.

Раз надо — значит, надо. Я эту женщину знаю достаточно, чтобы не тратить вопросы там, где ответ всё равно догонит нас сам. Обычно в самый неудобный момент, но догонит.

Сама Веслава, к слову, с нами не шла. И Консультант не шёл: обоим было велено остаться при городе. Кем велено — ни один не уточнил, но по лицам читалось единственное направление: сверху. «Так надо» на этой неделе работало у нас вместо устава. Состав похода утвердился короткий, семейный: я, Восток, Снежинка, Форс-Мажор и Ходок. Пятеро игроков — всё остальное, как честно считает система, петы или навыки.

Пока мы собирались тут, в реале произошло то, о чём я обязана отчитаться, потому что это была операция, и операция грязная.

Наших администраторов — обе штуки — перевезли. Тихо, ночью, силами группы начальника охраны: из съёмных квартир в закрытый объект, с капсулами, с вещами, с соблюдением всех протоколов. А чтобы никто их не искал слишком усердно — квартиры спалили.

Обе. В одну ночь. В разных частях города. Тщательно, с подменой, с такой инсценировкой, что комар носа не подточит: проводка, экспертиза, страховые акты — всё сложится в скучную бытовую историю. Как так вышло, что у двух бывших коллег в одну ночь на разных концах города случились пожары? А мы знать не знаем. Совпадение. Бывает.

Но главная прелесть операции была в другом — в отчётах, которые легли на столы корпорации. Потому что по бумагам загорелись не квартиры.

Загорелись капсулы.

Нам это, строго говоря, в минус: мы в эти капсулы вложились, мы их субсидируем, нам их репутация дорога. Но игра стоила свеч — буквально. Пусть теперь верхи ломают головы, как служебные капсулы двух уволившихся администраторов самовозгорелись синхронно; пусть инженеры ищут дефект, которого нет; пусть готовят фикс от неисправности, которую мы придумали. А по миру пошёл слух — сам собой, как ходят лучшие слухи: у тех, кто играет за тёмных, капсулы, случается, полыхают. Возможно, брак. Партия такая попалась. Никаких имён, никаких подробностей — просто тревожный шумок нужной температуры. Корпорация тему торопливо прикрыла, а всем игрокам без исключения выкатила срочный фикс прошивки — солидный, с патчноутом на три экрана. Фикс чинил неисправность, которой не существует, и предназначался ровно для одного: для отвода глаз.

Павел на экстренном совете отработал свою партию с блеском: возмущался первым и громче всех. Если у вас капсулы самовозгораются — попасть может каждый! Это ваш недостаток! Рисковать репутацией продукта нельзя — разберитесь со своей ошибкой, и чтобы доложили лично!

Совет пообещал разобраться. Мы вежливо покивали.

Разобраться у них, разумеется, не выйдет ни с чем: все логи по нашему региону для их инструментов — битые файлы. Идеальное место, чтобы прятать концы: противник не может расследовать даже то, что мы сделали его руками у него на глазах.

Тикет с Крайним, узнав о судьбе своих квартир, отреагировали по-разному. Тикет молча выпил и сказал «я там жил восемь лет». Крайний подумал и спросил, распространяется ли страховка на съёмное. Я окончательно уверилась, что младший далеко пойдёт.

Маршрут в игре был прост, как всё продуманное: сначала — храм. Наш, перевёрнутый, по дороге; лич и Веслава порекомендовали его для обязательного посещения, а слово «обязательное» в устах этих двоих не оставляет маршруту вариантов.

Храм встретил нас живым. Лампадки рядами уходили в глубину ярусов, пахло воском и камнем, у купели кланялся прислужник, монах мёл вечную пыль с видом человека, нашедшего смысл. А у восстановленных весов ждал жрец — тихий, немолодой, с пустой памятью и руками, помнившими своё дело: он возложил ладони каждому, по старшинству, и мир на секунду становился тяжелее и правильнее, как становится тяжелее рука с правильным инструментом.

Благословение Безымянного: получено

А когда я, последняя, поднялась с колен, жрец задержал ладонь над моей головой и сказал — тихо, только мне, голосом, в котором не было ни памяти, ни сомнения:

— Если в пути что-то не будет работать — не проси чужого. Сделай своё.

Я не поняла. Кивнула, записала дословно — я всегда записываю дословно то, чего не понимаю: непонятое дословное имеет свойство дозревать.

Дозрело оно быстрее, чем я думала.

Шли на северо-восток, к кромке серой зоны, забирая по дуге через леса и пустоши, — и дорога качала нас, как хорошая тренировка: mobs пошли злее, гуще, взрослее. Волки-падальщики стаями. Костяные вепри. Что-то длинное в овраге, чему Стас так и не подобрал названия, а Опись вежливо записала «неустановленное, 27 уровень, недружелюбное». Убивали всё, что убивалось. Что не убивалось — находили способ, помечали Меткой и убивали помеченным. Уровни росли как на дрожжах: к концу второго дня средняя пачка перевалила за двадцать восьмой, я подбиралась к тридцать второму.

И на этой дороге мы впервые развернули в поле всё, что принесли из храма. Зрелище, доложу вам, было такое, что я временами забывала командовать.

Аркадий Львович судил от души. Мана у него теперь уходила заметно быстрее — новая сила брала дорожную цену, — зато каждый приговор шёл со спецэффектами, от которых у противника заканчивались вопросы вместе со всем остальным. Он выбрасывал руку, произносил формулу — и за его спиной, над головой, разворачивались весы. Огромные, призрачные, чёрно-белые, во всё небо ближнего боя. Чаши качались, ловили, замирали — и бил колокол. Один удар, гулкий, окончательный, из ниоткуда и отовсюду:

Приговор вынесен. Обжалованию не подлежит

От этого гонга холодило всех, включая своих, включая, по-моему, псов. Первые разы мы вздрагивали строем. Потом привыкли. К хорошему правосудию привыкаешь быстро — особенно когда оно на твоей стороне.

Павел получил в храме книгу. Свою: «Смертный заступник. Наставления» — том в тёмном переплёте, близнец моего фолианта. С той разницей, что я свой год выгрызала по страничке, а его книга открылась ему сразу, вся, от корки до корки, как открывается дверь тому, кого ждали. И — деталь, которую я подчеркнула трижды: из-за того, что он ходит в связке со мной, в одной пате, кровь к крови, в его книге проявился скрытый раздел. Какой — расскажу позже, когда сами дочитаем: там такое, что рассказывать надо с расстановкой.

А пока — факт, наблюдаемый в поле. В бою Павел научился входить в состояние. Официально оно в книге называется длинно и старинно; Стас с первого раза окрестил его «тёмный паладин-берсерк», и прижилось. Выглядит это так: сын мой делает шаг вперёд, выдыхает — и тьма накрывает его целиком, как накрывает вода: доспех, лицо, глаза — глаза особенно, они заливаются чернотой без белка и без дна. А за спиной разворачиваются щупальца. Призрачные, туманные, штук восемь, длинные — и в развороте, в размахе, в манере полускладываться за плечами они отдалённо, страшно напоминают крылья.

Я растила этого мальчика. Я учила его завязывать шнурки и читать баланс. И я вам скажу: «Сверхъестественное» и «Секретные материалы» курят в сторонке, нервно, за углом. Есть старая фраза про то, что если долго смотреть в бездну — бездна посмотрит на тебя. Так вот, в такие минуты Павел выглядел как бездна, которая посмотрела первой. Перекреститься хотелось даже мне — человеку, у которого с той конторой давние взаимные претензии.

Даше повезло не меньше — если это слово тут применимо.

Рыдать по полной программе ей больше не требовалось. Выдавливает слёзы, беречь горло, работать телом — всё это ушло в прошлый уровень мастерства. Теперь ей достаточно было подумать о навыке — и посмотреть. Слегка пристально. На жертву. И жертва начинала плакать вместо неё: сначала жертва, потом соседи жертвы, потом, если Даша напевала мотив — три ноты, вполголоса, себе под нос, — рыдало всё окружение в радиусе полёта стрелы. Волчья стая, попавшая под этот мотив на второй день, легла в траву и выла — горько, безутешно, по-человечески — пока Стас не прекратил их страдания из чистого милосердия.

Плакать самой ей, впрочем, никто не запрещал. Просто теперь это была не работа. Теперь это была роскошь.

Страшно? Страшно. Ужасно. Но — привыкаемо. Я в этой семье вообще многое узнала про человеческую способность привыкать.

У меня же изменилось немного — на первый взгляд. Тёмной маны стало ощутимо больше: резерв вырос так, что старые нормы расхода смотрелись детскими. Потолок одновременного подъёма ушёл с двадцати до полтинника: пятьдесят скелетов разом, единым движением, одной волей — я проверила на пустоши, и пустошь два часа маршировала.

А лучший, драгоценнейший, любимейший бонус похода в храм назывался «Тёмное пространство».

Карман. Личное измерение — прохладное, беззвучное, размером, по ощущению, с хороший склад, — куда я могу убирать своих. Всех. Скелетов, крыс, псов, боекомплект — рукой, жестом, мыслью: втянула — и колонна исчезла, выпустила — и колонна стоит, строю, как убрала. Я была счастлива, как ребёнок. Нет — как бухгалтер, которому впервые показали офшор: моя армия теперь ездила у меня в кармане. В любое время. В любом месте. Без обозной пыли, без «а куда мы денем полсотни скелетов на постоялом дворе». Логистика — это восемьдесят процентов любой войны, и мне только что подарили её целиком.

К слову, о подарках региона. С той ночи, как храм пришёл в порядок, из наших земель исчезла вонь. Вся. Нежить, разложение, топляная гниль — раньше это был фоновый запах профессии, к которому привыкаешь и который выдаёт наших за версту. Теперь — хоть подойди к самому жуткому, самому спелому мертвяку и вдохни полной грудью: трава. Цветы. Чистый воздух обычного города, как у светлых в рекламе. Регион будто прошёл санобработку на уровне мироздания.

Эффект немедленно отразился на статистике: поток желающих играть за нашу сторону вырос ещё раз. Пиар-кампания била рекорды — Ярослава со своей группой держала топы, наш жрец-извращенец собирал стабильную аудиторию ценителей, — а капсулы наконец пошли в массовое производство по приятной цене, и порог возраста рухнул с двадцати одного до восемнадцати, с ограничениями по контенту. Компания, окрылённая деньгами, заикнулась было и про шестнадцатилетних — но юристы, к моему облегчению, идею забраковали: психика неокрепшая, учиться надо, а не в игрульки играть. Редкий случай, когда я аплодировала чужому юридическому отделу. Детей в этот мир пускать рано. Мы сами ещё не выяснили, что он делает со взрослыми.

В топи мы вошли к полудню следующего дня, и топи я почуяла раньше, чем увидела.

Запах. Своеобразный, сладковато-тухлый, с металлической ноткой на дне — и оттого особенно опасный: в краю, где отучили пахнуть даже мертвецов, любой запах — это уже не запах. Это предупреждение.

Про болота надо понимать одну вещь, и я велела Стасу довести её до каждого перед входом. Болото страшно не тем, чем пугают детей. Утонуть, увязнуть, уйти в окно с головой — это страшно, но это честно: видно, куда не наступать. Настоящая дрянь на болоте невидима: газ. Топь дышит — гниением, глубиной, пузырями со дна, — и дыхание её ядовито. Надышался — и всё: голова тяжелеет, ноги вязнут уже не в жиже, а сами по себе, и ложится человек отдохнуть на кочку, с которой не встают.

Система была с природой согласна. Едва мы миновали первую гряду камыша, по строю прокатилось окно:

Дебаф: Миазмы топи

Здоровье: —1% каждые 10 секунд. Усиливается с глубиной территории. Ослабляется зельями и благословениями. **Снимается полностью:** очисткой территории.

— «Очисткой территории», — прочитала я вслух. — Прелестно. Данж открытого типа: без входа, без дверей, без кнопки «передумать». Территориальный. Заходишь — и ты уже внутри.

Глубинный отвар и лавка жены мельника отработали вложения сполна: зелья сбивали тик до терпимого, благословение из храма держало сверху. Но «ослабить» — не «снять»: процент

капал, тихо, методично, как капает пеня, и с каждой сотней шагов вглубь капал заметнее. Топь выставляла почасовую оплату за постой. Топь была бухгалтером похуже меня.

Первый час шли молча, по вешкам Стаса: гать — топь — гать, псы дозором, скелеты в пространстве, чтобы не месить жижу полусотней костяных ног. Туман лежал по пояс. Камыш стоял стеной. Где-то мерно, гулко булькало — не в ритме шагов, не в ритме ветра. В своём.

А потом топь напала.

Разом, со всех сторон, без разведки и прелюдий — как нападает то, что у себя дома. Из жижи по обе стороны гати встали утопленники: распухшие, в тине, с ряской в глазницах, десятками — те, кого эта топь собирала веками и, как выяснилось через минуту, отдавать не собиралась. Из камыша ударило зверьё — болотные твари, плоские, зубастые, стремительные в воде и мерзкие на суше. А из тумана впереди, ломая гать, поднялось главное.

Леший.

Я читала про них в детских сказках и была не готова. Четыре метра гнилого дерева, мха и злобы; тело — переплетение стволов, из которых сочилось; лицо — дупло с гнилушечным светом в глубине; руки — по корневищу каждая, и каждым корневищем он мог зачерпнуть двоих. Осмотр сказал коротко: Хозяин топи. Уровень 34. Отношение: враждебность — и я впервые видела, чтобы слово «враждебность» в системном окне выглядело как преуменьшение.

— К бою!!! — но команда уже была не нужна: строй сработал сам, рефлексам трёх недель дороги.

Дальше — как всегда в настоящем бою: рвано, вспышками, по докладам и по тому, что выжгло мне в память.

Вспышка: Павел выдыхает — и тьма берёт его. Глаза заливает чернотой, за спиной разворачиваются восемь туманных щупалец, и тёмный паладин-берсерк встречает лешего в лоб, потому что в лоб с этим больше нельзя никому. Корневище против щупалец, рёв против тишины — Павел не кричит в этом состоянии вообще, и его молчание страшнее любого рёва.

Вспышка: Даша выходит на край гати, обводит взглядом встающих утопленников — слегка пристально, как она теперь умеет, — и напевает. Три ноты. И топь взывает. Утопленники — все, десятки — запрокидывают головы и воют: горько, слитно, вековой болью, которую она в них разбудила и обратила против них же. Они воют, скребут себя, теряют строй — и жуть от этого хора идёт по костям у всех, включая нас, включая, кажется, лешего.

Вспышка: «ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» — гонг, весы во всё небо, и плоская зубастая тварь, метившая Стасу в спину, складывается пополам, взвешенная и найденная очень лёгкой.

А я делаю то, что делаю всегда в начале боя: тянусь к местной мертвечине. Пополнить запас, перехватить, поставить в строй — стандартная процедура, отработанная до зевоты.

И — ничего.

Утопленники не брались. Совсем. Я тянула — нить соскальзывала, как соскальзывает рука с мокрого каната; я давила — топь давила в ответ, глухо, ровно, всей массой. Мертвечина здесь была не бесхозной. Мертвечина здесь была её. Топь не отдавала своих — никому. А Консультанта, чья мощь сейчас пригодилась бы как никогда, с нами не было: приказ есть приказ, город без пригляда не оставляют.

— Не поднимается!!! — крикнула я своим, и это были плохие новости, потому что план боя стоял на пополнении.

А потом стало хуже.

Из глубины, из чёрных окон между кочками, полезли другие. Побольше. Поматёрее. Утопцы старших горизонтов — тёмные, разбухшие до нечеловеческих пропорций, со дна, где лежали дольше всех; болотные хваты в три обхвата; и что-то безымянное, что двигалось под жижей, не показываясь, — только гать вздрагивала. Начался, занову в протокол установленным термином, звездёц. Строй пятился. Миазмы капали. Даша держала вой, но горло не бес-

конечно; Павел рубился с лешим на равных, но на равных — это надолго; приговоры Аркадия Львовича падали один за другим, и мана его таяла на глазах. Полсотни моих скелетов держали периметр — и таяли тоже: топь засасывала упавших мгновенно, себе, в фонд.

Арифметика боя пошла в минус. Я это чувствую раньше, чем вижу, — профессиональное.

И вот тут, на самом дне этой арифметики, во мне всплыло — дословно, голосом тихого жреца с пустой памятью:

«Если в пути что-то не будет работать — не проси чужого. Сделай своё».

Чужое не работает. Топь не отдаёт своих.

Значит — своё.

В новом резерве, среди умений, открывшихся с тёмным пространством, лежало одно, которое я до сих пор обходила стороной: строка в фолианте, от одного описания которой у меня сводило расчётную часть души. Расход — чудовищный. Материал — «любые мёртвые ткани в достаточном объёме». Предупреждение мелким шрифтом — «может потреблять поднятых заклинателя». То есть эта дрянь, если ей не хватит, сожрёт моих же. Которых и так мало.

Но достаточный объём у меня был. Он лежал вокруг гати — весь тот бардак, что мы нарубили за четверть часа: звери, хваты, утопцы, обломки, всё, что топь ещё не успела втянуть.

Скилл назывался — голем.

Я выдохнула, поставила ноги, как учили, — и потянула. Всё. Сразу. Весь нарубленный бардак разом, плюс, по требованию заклинания, четверых своих скелетов — оно взяло их само, без спроса, как берёт закваску, — и вложила в это тёмной маны столько, сколько не тратила за неделю.

Топь дрогнула. Мёртвое пришло в движение — со всех сторон, ручьями, волоком, по воздуху: кости, туши, тина, всё стягивалось к точке перед строем, насаивалось, сращивалось, росло —

И встало.

Метра четыре. Может, пять — вровень с лешим. Гора сращённой мёртвой плоти, из которой во все стороны, розой, торчали кости — рёбра, клыки, чьи-то хребты, — а по всему этому, сверху вниз, ручьями текла кровь. Текла, достигала жижи — и поднималась обратно, вверх, по телу, в тело: замкнутый круг, вечный двигатель ужаса. Оно дышало — всей массой. Оно ждало приказа.

Я много страшного видела за две жизни. Но скажу честно, как на духу: увидь такое человек в реальной жизни — завтрак вышел бы наружу немедленно, а следом, параллельно, пошла бы кровь из глаз, чисто из солидарности. Шедевр мирового дизайна. Произведение, после которого неделями не спят. И это произведение было — моё. По всем документам.

— Его, — сказала я голему и показала на лешего.

Голем пошёл.

Он не бежал и не крался — он наступал, как наступает счёт-фактура с истёкшим сроком, и топь расступалась перед ним, потому что топь, при всех её фондах, такого у себя на балансе не держала никогда. Леший бросил Павла, развернулся всем гнильём навстречу — и голем сделал то, что я потом пересматривала в докладах Гонца трижды, не веря.

Он его обнял.

По-братски. Широко, всей мясной горой, прижав корневища к стволу, — поднял хозяина топи над собой, над туманом, над камышом, подержал секунду на весу, словно взвешивая по-своему, по-простому, —

и швырнул. В лучших традициях реслинга, с проворотом, через себя — оземь, о гать, о кочки, со звуком, с каким ломается вековой сухостой.

Хребет лешего — или что у леших вместо хребта — переломился слышимо. Гнилушечный свет в дупле мигнул и погас. Топь издала один длинный, глубинный, пузырчатый выдох — и осела. Замолчала. Отпустила.

Территория очищена Дебаф «Миазмы топи» снят

Мы победили. Спокойненько так, как выражается Стас, вышли победителями в этой чудной битве.

А дальше я не помню ничего.

Очнулась я, по показаниям своих, через два с лишним часа — на сухом пригорке, под тремя плащами, с Дашиной ладонью на лбу и с Гонцом, несшей вахту у моего уха столбиком.

Диагноз коллектив поставил единогласно: обморок от истощения. Голем сожрал всё — ману до дна, резерв до донышка, четверых скелетов без спроса и, судя по ощущениям, недельный запас меня самой. Провалилась я, как доложили, ровно на слове «победителями» — стоя, с прямой спиной, и Павел успел поймать.

Пока я валялась, система, надо отдать ей должное, расплатилась со всеми честно и не сходя с места. Надо мной, по свидетельству Даши, ещё в отключке провисело окно — жирное, торжественное, каких я прежде не видала:

Получен уровень: 45

Хозяин топи плюс полная очистка территории — и меня швырнуло вверх разом, с тридцать второго на сорок пятый, через добрый десяток ступеней одним прыжком. Отсыпало и нашим: Павел вышел на сорок первый, Даша и Стас — на сороковой, Аркадий Львович — на тридцать девятый.

— В резерв эту скотину не берём, — просипела я, когда вернулся голос. — В нынешний — точно. Слишком жрёт.

— А если?.. — начал Стас.

— А если берём, — сказала я, — то это крайняя мера из крайних. Клин клином, когда всё остальное кончилось. Записывайте регламент: голем — только на крайний случай, при угрозе полного разгрома, и только если рядом есть кому меня ловить.

Тут, впрочем, изобретать велосипед не пришлось — я эту дорогу знала. Не по конспектам, как Даша, а ногами: в прошлой своей игровой жизни, той, что до капсул и до смерти, я водила паладина. Светлого, высокого, за три сотни уровней — и у любого паладина такого пошиба в арсенале лежит навык-ульtima, который жжёт собственную жизнь и святую силу дотла: последний довод, кнопка «всё или ничего». Бывали такие скиллы, есть и будут, в любой конфессии. И всякий, кто такой кнопкой пользуется, знает единственное к ней лекарство.

— Обвес, — сказала я, глядя в вечеряющее небо над очищенной, впервые тихой топью. — У меня на том паладине висело регена на небольшое княжество: кольца на восстановление жизни, ожерелья на восстановление силы, каждая шмотка — с регеном. Чтобы после ульtимы не падать лицом в пол. Механика древняя как мир, я её наизусть знаю. Одна беда: тогда я собирала это под светлую силу. А теперь всё то же самое — кольца, ожерелья, шмот — надо достать заново, под некроманта. Под реген тёмной силы и жизни. Полный комплект. На каждого.

Внести в закупочный лист первым приоритетом. Без этого голем будет обходиться крайне дорого — а я, простите, не для того две жизни считала деньги, чтобы платить собой по расходнику.

— У нас ничего из этого нет, — заметил практичный Стас. — Ни в лавках, ни в трофеях.

— Пока нет, — сказала я. — Поэтому пока — это про запас. Список — уже половина кольца.

И вот тут — самое важное, ради чего эту механику стоит зазубрить кровью, потому что заплатила я за урок едва не собой.

Голема я, теряя сознание, распустить не успела — да и не смогла бы: рук на команду уже не было, сознания тоже. Но он и не остался стоять. Призыв такого рода — это не поднятый скелет, который топчется, пока его не отменят. Это заклинание, которое нужно держать: оно висит на мане заклинателя, тянет из него постоянно, как насос, — и в ту секунду, когда у хозяина сила уходит в ноль, призыв рассеивается сам. Автоматически. Схлопывается, откуда взялся.

Ровно это меня и спасло. Не рассейся заклинание — голем тянул бы из пустого досуха, и тянуть ему было уже неоткуда, кроме как из жизни. Я бы легла в этой топи рядом с лешим, и никакая Веслава не успела бы. Автомат сработал первым: у меня подкосились ноги — и в тот же миг схлопнулся он.

Хотя одну вещь мне доложили шёпотом, и я долго её переваривала. Между моим последним приказом «его» и моим обмороком прошло не мгновение — прошло несколько секунд. Считанных, но прошло. И эти несколько секунд, пока во мне ещё тлела последняя капля силы, а леший уже лежал со сломанным хребтом, голем — не добивал, не буйствовал, не искал новой драки. Он развернулся костяной розой ко мне. И встал над пригорком, куда меня уже вело в темноту, — заслонив собой, глядя в камыши, откуда мог прийти ещё кто-нибудь. Караулил хозяйку. Ровно до той секунды, когда моя касса опустела, — и тогда осыпался, беззвучно, сложившись горой мёртвой плоти у самых моих ног. Вернул топи её тину, а мне под руку — четверых моих скелетов, обугленных, но целых, и россыпь чужих костей, которые Стас потом добросовестно собрал в боекомплект.

Штат есть штат — даже когда штат такой, что кровь из глаз. Последним, что он сделал на моей мане, было — прикрыть меня. Учту и это.

Разово брошенное заклинание — молния, взрыв, приговор — отработало и ушло, оно ничего не стоит после. А вот всё, что призывает и держит, — голем, а в перспективе и кое-что похуже, — живёт ровно до тех пор, пока в тебе есть чем платить. Кончилась касса — представление окончено, занавес падает сам, иногда прямо тебе на голову. Урок дорогой. Записан большими буквами.

А регламент по голему я дополнила последним пунктом, лично, своей рукой:

«Скотина. Прожорливая, страшная, вне штатного расписания. Держится, только пока платишь, — и гаснет сама, чуть касса опустеет; тем и спасло. Но своих, даже гаснувший, бережёт. Учесть всё».

А где-то там, за топиями, за частоколом, в тёмном городе — в этот самый вечер икнул один молодой человек.

Он и сам не понял, с чего. Сидел на приступке, вертел в пальцах обломок остывшего металла — и вдруг икнул, и по спине прошёл холодок, будто кто-то далёкий и очень занятой произнёс его будущее имя.

В той, оставленной жизни он был ювелиром. Точнее — считался: диплом, руки, глаз — всё при нём, а вот заказов не было. Мир снаружи его работу не принимал — «слишком странно», «слишком мрачно», «кому нужны кольца, похожие на позвонки, и подвески в форме слёз». Он голодал талантом, что унизительнее, чем голодать желудком, и в капсулу ушёл наполовину сбежав: в игре хоть кормят видами.

А здесь его мрачное вдруг оказалось ко двору. Здесь кости торчали из заборов, а местами и вместо заборов; здесь сошлись, кажется, порядки всех загробных миров всех мифологий разом — костяное, тёмное, потустороннее было не диковиной, а бытом. Здесь красота была костяной и посмертной — его красота, та самая, за которую снаружи выписывали диагноз вместо гонорара. Он бродил по чёрному городу, смотрел на вороненую броню, на резную кость в отделке ворот, на черепа, вплавленные в кладку оград, — и внутри у него, впервые за годы, что-то дрожало и рвалось наружу: не страх. Замысел.

Он ещё не знал, что регион отчаянно ищет мастера. Не знал, что где-то в закупочном листе очень серьёзной дамы первым приоритетом стоят «кольца, ожерелья, шмот — под тёмную силу и жизнь, полный комплект, на каждого». Не знал слова «личный ювелир гильдии» и не подозревал, что оно вот-вот прилипнет к нему намертво, вместе с окладом, от которого он потерял бы дар речи, будь у него сейчас с кем говорить.

Он знал одно: пальцы чесались работать. Впервые за очень долгое время — чесались от восторга, а не от голода.

Тяжёлая рука опустилась ему на плечо и вывела из раздумий. Начинающий кузнец — так его тут записали, приставив к мелким деталям, потому что ковать по-крупному он не умел, а мелкое, ювелирное, выходило само собой, единственное, что он вынес из прошлой жизни, — поднялся с приступки и пошёл обратно в производственный цех.

Будущее у него, к слову, было. Просто он об этом ещё не знал.



Глава 4. Незапланированный спуск

В топах мы задержались ещё немного — добывая мелочь, подчищая углы, выжимая из очищенной территории последнее. Топь после победы оказалась на удивление хлебной: то, что ещё вчера пыталось нас утопить, сегодня послушно осыпалось опытом. Павел поднялся до сорок третьего, Даша, Стас и Аркадий Львович — до сорок второго, а мой некромант встал на сорок седьмом — и, надо сказать, впервые за две жизни не показался мне слабаком.

Сорок семь. Кто бы мог подумать. Я вспомнила себя год назад — грязную, в стартовом исподнем, с лопатой и тремя медяками — и мысленно показала той себе сорок седьмой уровень. Та бы не поверила. Та бы решила, что это чужой отчёт.

Таковыми темпами мы и дошли до неё. До зоны, ради которой затевался поход. Серая зона.

Она открылась впереди буднично и оттого жутко: мир просто менял тон. Краски приглушались, тени ложились не туда, воздух дрожал ровной серой рябью — как рябит помехами старый экран. Полоса взвешивания. Граница между тем, что я привыкла звать «нашим миром», и тем, что за ним.

И тут же обнаружилась проблема. Маркер моего второго тома — упрямая точка на карте — горел внутри серой зоны. Не на кромке, не у входа. Внутри. А входа не было.

Перед нами, поперёк всего, висел полог тьмы — плотный, глухой, от земли и выше, чем доставал взгляд. Барьер. Я подошла, потрогала — тьма спружинила, как спружинил бы очень вежливый, но очень непреклонный вышибала. Не пускала. Не больно, не зло — просто не пускала, и всё. Явного прохода мы не нашли ни в тот час, ни за следующий: обшарили кромку на версту в обе стороны — глухо.

Книга лежала за стеной, в которую не было двери.

Думать над этим предстояло всем составом — а состав как раз начал таять.

Живым той стороны пришлось время выходить в реал: во-первых, надо было связаться с теми, с кем — по какой-то причине, которую я занесла в реестр отдельным вопросом, — гильдейский чат упорно не соединял; во-вторых, у всех подходили таймеры, и через час-другой их выдернуло бы из игры само, посреди похода, что хуже планового выхода.

Ушли по очереди. И осталась я одна.

Ну — как одна. Крысы, псы, часть скелетов при мне, часть в тёмном пространстве, боекомплект, серп на поясе. По меркам той девчонки с лопатой — целая армия. По нынешним — привычное одиночество командира, отпустившего смену.

Аркадий Львович, выходя последним, строго-настрого запретил мне двигаться с места. Дословно, под протокол, глядя в глаза: сидеть в лагере, ничего не подписывать, ни с кем не заключать, ничего не принимать без него, с места — ни ногой.

А потом посмотрел на моё лицо — и махнул рукой. Молча. Потому что сорок один год знакомства научил его отличать приказы, которые я выполняю, от приказов, которые я слушаю. И, между нами, был кругом прав по всем пунктам, кроме последнего. Договоров без него я не заключаю — научена, посвящением по груди. Перьев с поклоном не подпишу. Но сидеть в лагере и куковать, глядя на непроходимую стену, — увольте. Это выше моих сил, а силы у меня, напомню, сорок седьмого уровня.

Тем более что рядом с серой зоной обнаружилась поляна.

Прекрасная поляна. Разнотравье, каких я в этом краю ещё не встречала: серая зона, видимо, подкармливала окрестности чем-то особенным. А я, между прочим, давно уже не только некромант, но и травница — и не из последних: научилась всматриваться в растения и видеть их эффекты прямо в поле, без перегонки. Стоишь над кустиком — а он тебе сам разворачивает свойства, как ценник.

И вот тут начинался мой любимый жанр — полёт фантазии. А если это сварить с вот этим? А что выйдет, если добавить сюда вот того? Могло выйти хорошее. Могло выйти плохое. Мог выйти честный пшик. Но не проверив — не узнаешь, а не узнав — как жить.

Словом, я взяла корзинку, взяла серп и отправилась со своей костяной охраной прогуляться по поляне.

Костяных пришлось расставить с умом: так, чтобы они, топчась, не помяли мне весь ассортимент, но при этом глядели в оба — во все пустые глазницы. Инструкция была простая, отработанная: если хозяйка чего не заметит, не почувствует, прозеваает — хватать хозяйку и уносить, прикрывая костями. Своих беречь. Учтено, помним, вписано кровью ещё в топах.

Всё шло как обычно. Ничего нового, ничего дурного, ничего хорошего — рабочая тишина. Солнце светило и припекало — ровно, ласково, совсем как в тот день, когда я провалилась в этот мир неизвестно откуда неизвестно куда.

Вот на этой мысли про солнце меня и накрыло дежавю.

Потому что я снова летела.

Вниз. Головой. Корзинка — вверх, ноги — вверх, травы веером, серп куда-то в сторону, — земля разошлась подо мной без предупреждения, без хруста, без вежливого «осторожно, провал», и я ухнула в чёрную дыру ровно так же, как ухнула когда-то в этот мир целиком. С той же позой. С тем же кувырком. С тем же обречённым «ну опять».

В этот раз, впрочем, повезло — и повезло поинтереснее.

Скелеты сработали быстрее меня самой — и не только те, что были рядом: мои костяные рванули из тёмного пространства, полезли из воздуха на лету, стянулись к падающей хозяйке в кучу, окутали костяным коконом — довольно, отмечу, мягким изнутри, я оценила заботу, — и мы, единым клубком костей и мяса, вроде живого шара, впечатались вниз.

Отбила я, если по совести, только мягкое место. Всё остальное приняли на себя ребята.

Я села в темноте, отряхнулась изнутри своего костяного шара, велела ему рассыпаться и посмотрела наверх.

Наверху была дыра. Далеко. Очень далеко: не десять метров, как в приличном погребке, а как минимум... я прикинула на глаз, по-своему, по-обыкательски — плюс-минус небоскрёб из Дубая, тот самый халиф, который на открытках. Высоко. И первое, что подумалось после «жива», было трезвое и семейное: от юриста влетит. Не по полной программе — по программе с превышением.

Потому что с места я, кажется, всё-таки сдвинулась. Метров на восемьсот. Вертикально вниз.

Осмотрелась.

Я сидела на дне — и дно это было устлано костями. Весь колодец, все его стены, всё, куда доставал мой могильный взгляд, было заполнено костями: слоями, пластами, эпоха на эпоху. По ощущению — а мой профессиональный нюх на такое не обманешь — здесь очень, очень долго было кладбище. Не могилы с крестами — а именно свалка костей, наслаивавшаяся веками, оседавшая всё ниже, пока верхние не превратились в тонкую земляную корку, ту самую, что подо мной так удачно разошлась.

А где кладбище — там материал. Бесхозный, ничейный, залежавшийся материал в количествах, от которых у меня, честно, потеплело под ложечкой рабочим теплом. И означало это одно: я, кажется, провалилась по адресу. Не мимо. Туда, куда и надо было, только с чёрного хода — вернее, с чёрного дна.

Потому что — я огляделась внимательнее и убедилась — здесь не было полого тьмы. Наверху, на поверхности, у серой зоны, впереди висел тот непроходимый барьер. А тут, внизу, на этой глубине, — ни следа никакого барьера. Стену, похоже, ставили только сверху, поверху,

как ставят забор, — а под забор никто копать не догадался. Зато отсюда, из-под костей, вёл коридор. Длинный, тёмный, уходящий в полнейшую неизвестность — и, судя по всему, как раз под серую зону, в обход стены.

Барьер держал вход. Барьер не держал подкоп. А смерти, как мне доходчиво объяснила одна безликая дама, принадлежат все переходы — включая, видимо, и вот этот, вырытый временем и оседанием.

Мой томик, чует моё кладбищенское сердце, лежал где-то там, в конце коридора.

Но прежде — лестница. Иначе от юриста было бы не влететь, а прилететь.

Задача стояла двойная: как минимум — выбраться со дна дубайского колодца, как максимум — сделать вид, что выбираться и не пришлось, что всё было под контролем. Материал имелся в избытке — весь колодец. Я напряглась, собрала волю, ману и костяшки в кулак — и принялась строить.

Лестницу в небо.

Огромную, костяную, винтовую — виток за витком вверх по стенке колодца, из плотно сращённых костей, с перилами (перила — из чувства собственного достоинства; падать второй раз я не собиралась) и с площадками-уступами через каждые несколько витков: спускаться — а потом и подниматься — с такой высоты страшно, ноги ватные, голова кружит, и человеку надо где-то присесть, выдохнуть и уговорить себя лезть дальше. Работа заняла остаток того дня и весь следующий: подъём с сорок седьмого уровня давал уже такой контроль над материалом, что кости ложились почти послушно, а «почти» я добирала упрямством.

И пока строила, сделала себе две пометки в реестр.

Пометка первая: приключения я собираю значительно быстрее, чем успеваю с ними справляться. Это уже не совпадение, это тенденция, и тенденцию надо закладывать в бюджет.

Пометка вторая, робкая: а не завести ли ещё одного юриста? Не живого. Персонального, костяного, для контроля за моими же порывами — чтобы одёргивал в момент падения, а не постфактум.

Пометку вторую я тут же выкорчевала с корнем. Во-первых, такого юриста, как Аркадий Львович, заменить невозможно, а второй такой же — оскорбление первому. Во-вторых — и вот это по существу — завести я костяного контролёра, мы бы вообще перестали двигаться по сюжету: каждый мой шаг проверялся бы, визировался и обжаловался, а я только-только вошла во вкус.

Вкус, поясню, специфический, и мне надо его объяснить хотя бы себе.

В той, прошлой игровой жизни я водила паладина — светлого, за три сотни уровней. И как я его водила? Первые уровни мне протащили за четыре часа, из стартовой деревни в следующую, за ручку. Дальше — банковский аккаунт и скучные механики: платишь, и за тебя всё делается. Святая сила вообще устроена барски: сильные держат врага, ты отрабатываешь на нём удары, экзекуции, эффектные добивания на беспомощной жертве. Вроде качаешься. Вроде растёшь. А по сути — тебя катают.

А здесь всё приходится делать самой. От первого медяка до сорок седьмого уровня, от лопаты до косы, от подъёма первой крысы до лестницы в небо из дубайского колодца. Всё — своими руками, своей головой, своими ошибками. И вот это «самой», как ни смешно, наполняет меня жизнью. Некромант, которого наполняет жизнь. Философски звучит. Пусть звучит. Я заслужила немного философии — я за неё дорого заплатила.

Лестницу я достроила к концу второго дня — аккуратно к тому часу, когда мои начали возвращаться в игру.

Я быстренько отряхнулась, придала лицу выражение полной непричастности и встретила команду версией, отрепетированной за время стройки.

Версия была такая. Вон на той прекрасной полянке, общими нашими усилиями и моим тонким чутьём, была обнаружена закопанная лестница. Древняя. Мы, естественно, начали осторожно копать — и земля возьми да обвалилась вниз, а я, стоявшая скромно с краешку, увидела в провале готовую костяную лесенку, ведущую в перспективный коридор. И честно, как порядочный командир, дождалась всех, прежде чем спускаться. Вот, полюбуйте́сь.

Врать иногда тоже надо уметь — особенно ради сохранности чужих нервов. Правда «я опять провалилась вниз головой на восемьсот метров» подняла бы Аркадию Львовичу давление, которого у него, как мы выяснили, не бывает, а Даше дала бы повод для шуток на весь второй том. А так — нашли лесенку. Красиво нашли. Профессионально.

Тем более что нервы моим и без моего падения нашлось чем пощекотать. Пока я строила свою винтовую красоту, из глубины коридора — оттуда, из неизвестности под серой зоной — доносилось. Стоны. Крики. И ещё что-то, чему я не подобрала названия: гул непонятных энергий, накатывающий волнами, от которого кости в стенах колодца тихонько подрагивали в такт.

Там, впереди, кого-то ждали.

И судя по звукам — ждали давно.

Я поправила серп, оглядела своих — живых, вернувшихся, в сборе — и кивнула на чёрный зев коридора.

— Спускаемся. По лесенке. Которую мы все вместе так удачно нашли.

Врать так врать. А идти — так вместе.



Глава 5. Дверь на двоих

Аркадий Львович мне, разумеется, не поверил.

Ни на секунду. Но вслух не сказал — это было написано у него на лице крупным юридическим шрифтом: «версия принята к сведению, достоверность под сомнением, возражений по существу не имею». Он знал меня сорок один год. Он знал, как я иногда веду бизнес, — а бизнес я вести умею, и умею в том числе теми методами, от которых у порядочных людей выпадают монокли. Зная все мои стороны, хорошие и совсем нехорошие, он просто вздохнул, поправил лямку мешочка, закинул его на спину и предложил спускаться.

Дети, в отличие от него, купились с восторгом. Точнее, восхитились не столько версией, сколько сооружением: винтовая костяная лестница в восемьсот метров, с перилами и площадками для отдыха, произвела на них впечатление, и Даша минуты две восторгалась «силой мысли дизайнеров», а Павел молча оценил инженерию профессиональным кивком. А я сделала себе тихую пометку в реестр: не всё, стало быть, вышло так плохо. Из позорного падения получился вполне презентабельный объект недвижимости.

Сколько спускаются с восьмисотметровой высоты по винтовой лестнице, медленно, с передышками на каждом уступе, когда ноги ватные, а вниз лучше не смотреть? Долго. По моим прикидкам — большую часть дня. Мы спускались, отдыхали, спускались снова, и я всю дорогу ловила себя на нехорошем: восемьсот метров вниз я построила, а вот подниматься придётся столько же, и это будет отдельная глава моей биографии, посвящённая ненависти к самой себе.

Спустились. И едва ступили на дно, из коридора — снова.

Вой. Для меня — снова, для них — впервые: дети переглянулись, Стас положил руку на лук. А Даша прислушалась внимательнее, чем все, — профессионально, ухом мастера, — и сказала тихо:

— Там кто-то плачет. И плачет... — она нахмурилась, — плачет кто-то моего ремесла. Родственная техника. Я слышу школу.

И сделала то, что сделала бы только она. Заплакала в ответ.

Не в голос — коротким, точным пробным всхлипом, как перекликаются в лесу: свой? В коридоре наступила тишина. Даша выждала, всхлипнула ещё раз, длиннее, потом тихонько напела — три ноты, свою фирменную фразу, — и все посторонние подвывания, стоны и гул, доносившиеся из глубины, вдруг разом смолкли.

А в тишине прозвучал ответ.

— Проходите, пожалуйста, — голос был тонкий, почти детский, странно светлый для такого места. — Только не обижайте никого. — И, помолчав, ещё раз, просительно: — Пожалуйста. Не обижайте никого.

— Обижать мы никого не планировали, — сказала я вслух, в темноту, спокойно и внятно, как говорят с тем, кого не видят. — Будем надеяться на взаимность.

И мы вошли в коридор.

По коридору шли не спеша — и не от осторожности, вернее, не только от неё.

Особо никого не встретили. Был намёк на духов — полупрозрачные тени по краям зренья, — но они, стоило приглядеться, юркали в стены и таяли, будто стеснялись. Не нападали. Наблюдали.

А медленно мы шли из-за фресок.

Стены коридора были расписаны — старо, местами осыпалось, но там, где сохранилось, — подробно, густо, целыми повествованиями. Мы двигались от картины к картине, как по галерее, и я читала их профессиональным взглядом человека, привыкшего вычитывать историю из чужих архивов.

А потом мы вышли к одной фреске, и я остановилась. И все остановились.

Потому что с фрески на меня смотрело моё лицо.

Моё. Это тело — то самое, девятнадцати-двадцати лет, — в рост, в тёмном одеянии, с той же посадкой головы, которую я каждое утро вижу в зеркале с чужим удивлением. С двумя отличиями: в руках у фигуры были весы, а глаза — завязаны повязкой.

— Так это же Фемида, — сказал Аркадий Львович, и в голосе его была смесь узнавания и оторопи.

Фемиду я, разумеется, знала. Богиня правосудия, законного порядка; та, что стоит в судах по всему свету с весами в одной руке и мечом в другой, а на глазах — повязка: правосудие не смотрит, кто перед ним, оно взвешивает. Весы — чтобы мерить вину. Повязка — чтобы мерить без лиц. Символ, знакомый каждому, кто хоть раз проходил мимо здания суда.

И вот что цепляло сильнее всего. Та, что явилась нам в сторожке, была без повязки — и без лица: гладкий алый овал. А эта, на стене, повязку носила — но из-под повязки на меня смотрело моё собственное лицо, живое, с чертами, ошибиться в которых я не могла, потому что вижу их каждое утро в зеркале. Одна повязала глаза, у которых есть лицо. У другой лица нет вовсе, и завязывать нечего. Двумя разными способами обе отказывались смотреть на того, кого судят, — и обе почему-то складывались вокруг меня. По крайней мере, внешность совпадала до неприличия: стан, посадка головы, черты. Общие на троих — на прежнюю, безымянную хозяйку тела, которое я ношу, на безликую алую даму из сторожки и на меня? Утверждать не возьмусь: сходство — не тождество, это вам любой аудитор скажет. Но в реестр легло крупно, красным, с двойным подчёркиванием: важно. Вернуться к вопросу при первой же возможности. А пока одно из этих предполагаемых обличий стояло перед стеной и дышало через рот от изумления.

Я сфотографировала. Дважды. И пошла дальше по стене, потому что фреска на этом не кончалась — она разворачивалась в целое сражение.

Дальше было то, от чего у меня пересохло во рту.

Битва. Огромная, во всю стену и, судя по обрывающимся краям, когда-то много больше: горы, странные ступенчатые пирамиды, и на их фоне — война. Не стычка, не сражение — война богов, перенесённая на камень чьей-то рукой во всех подробностях. Бились все против всех: люди, воины в незнакомых доспехах, скелеты, мёртвые, тучи заклинаний, вихри сил. Массовка была прописана до последней фигурки.

А главные фигуры — отсутствовали.

Не осыпались — вынуты. Знакомый почерк: там, где на фреске стояли, судя по композиции, центральные участники, зияли гладкие пятна, ровные, выглаженные до той самой полировки, которую я узнаю теперь из тысячи. Войну богов кто-то старательно обезглавил уже здесь, на стене: оставил армии, стёр полководцев. Некоторые фигуры уцелели — второстепенные, фланговые, те, до кого не дотянулись или кем побрезговали.

И вот среди уцелевших, на одном из флангов, в гуще демонского воинства, стоял мальчишка.

Небольшого росточка — лет восьми на вид, не больше. В — я не поверила глазам и пригляделась — в чём-то вроде шортов и майки, честное слово; на затылке, сдвинутый как попало, сидел маленький шлем с крылышками на висках, а из-под него выбивались золотые завитки — колечками, как рисуют на открытках; и весь он был какой-то до того несерьёзный на вид, что среди эпической резни смотрелся опиской художника. Но приглядевшись, я поняла, что описка тут не он, а моё первое впечатление.

Потому что мальчишка не просто стоял. Он командовал.

Он командовал подразделением — и подразделение это состояло из тех самых рогатых, что совсем недавно навели нашу деревню (уже город) в исполнении демонолога-Постника. А в первом ряду его свиты, узнаваемая до дрожи, возвышалась та здоровенная рогатая скотина, что вылезла у нас из-под земли в ранге высшего суккуба и которую Веслава гоняла домой, как

соседского племянника. Забыть её было невозможно. А здесь художник добавил ей деталь, от которой я зависла на добрую минуту: в лапах туша держала лук. Огромный, в её масштаб, ярко-красный — а на древке наложенной стрелы были старательно, любовно выведены сердечки. Трёхметровая рогатая гора мышц с красным луком в сердечках. И вот эта туша на фреске покорно смотрела, куда указывал ей пальчиком мальчишка в майке: туда иди, того бей. В кого стрелять сердечками — вопрос отдельный и, подозреваю, страшный.

Кстати, о скотине — и о её, так сказать, земном операторе. Глядя на эту тушу, я невольно вспомнила Постника. Единственного жреца неизвестного малого божка Веслава изъяла ещё тогда — в тот самый день, когда туша ушла под землю. Сразу, не отходя от кассы: за шкуру, через всю улицу, на глазах у половины города, прямоком в храм — в самый, то есть, рассадник бесконечной женской любви. Бедолага тогда упирался и орал на весь квартал, что его там точно убьют. Или ещё что похуже. «Кому ты нужен такой, — отрезала жрица, не сбавляя шага. — А стойкость в вере поднимать надо. Вот и поднимем: будет твоя стойкость всегда в боевой готовности — с пути истинного точно не собьёшься».

Быт у страдальца с тех пор, по донесениям, сложился ровно такой, каким его обещала педагогика. Человеку, которому celibat нести пожизненно, а всё хозяйство, простите, бантиком завязать и не развязывать, — этому человеку теперь круглосуточно: то жрицы с аурами нежности по коридору проплывут, беседа о духовном, то суккуба прямо из воздуха материализуется — спросить, который час, и раствориться обратно, покачиваясь. Стойкость в боевой готовности, как и было обещано: двадцать четыре часа в сутки, без выходных и санитарных дней. Отдам, впрочем, Веславе должное — воспитательная работа среди личного состава идёт полным ходом: суккубы стали являться практически в приличном виде, а не в нижнем белье, как поначалу. Ещё пара недель такими темпами — и вовсе юбки в пол пойдут. Постник, боюсь, до этого светлого дня может и не дожить. Но умрёт при исполнении и с молитвенником в руках — а это, по меркам его конфессии, уже святость.

А свежее, недельной давности, было уже про рецидив. Перед самым нашим выходом в поход Постник предпринял попытку побега — к себе, на прежнее место, к родному алтарю. Поймали его, по докладам, на середине улицы. И картину возвращения наблюдал уже весь город: Веслава молча волокла беглеца обратно — по земле, за шкуру, как мешок с картошкой. С той лишь разницей, что мешок плакал и обеими руками прижимал к груди фолиант-молитвенник. Но не брыкался. Ни разу. А судя по свежему фингалу под глазом — осознал и смирился ещё до середины маршрута. Сводка по происшествию уложилась в моём реестре в одну строку: «Возвращён в храм жрицы». Педагогика своеобразная, не спорю. Но действенная: держится. Пока.

А на сандалиях у мальчишки были крылышки.

— Гермес? — пробормотала я. И сама себе возразила: — Нет... и не купидон. Волосы — купидоны: завитки эти, колечками. И лет ему на вид восемь — а из всех богов, похожих на детей, я знаю только купидона. Но сандалии с крылышками — гермесовы. И шлем — как у него. Только оба сравнения хромают: не тот, не этот и не их сумма. Лук со стрелами в композиции, кстати, имеется — вон он, красный, в сердечках. Но выдан почему-то не ему, а его рогатой подчинённой, что делает картину не понятнее, а страннее. Непонятно кто — с лицом прожжённого дворового заводилы, которого мама зовёт домой, а он «ещё пять минуточек». И вот от этой непонятности было неуютнее всего.

Несерьёзный вид не вязался с эпической войной ни капли. Зато вязался с одним свежим воспоминанием — с нахальным смешком в красной строке, с божком-шутником, который вылез через нашего Постника похвастаться первым за сотни тысяч лет протеже и устроил городу содом от широты душонки.

Уж не наш ли это знакомец? Утверждать не берусь: подписи на фреске нет, лица в красной строке я не видела. Но повадка... но рогатая скотина, слушающаяся пальчика... Похож. До

неприличия похож. У нас он, к слову, до выяснения проходит в реестре под кодовым именем Баламут — надо же его как-то писать, а «неопознанный малый бог со смешком» в графу не лезет.

Я запомнила фреску до последней чёрточки и двинулась дальше, унося в голове портрет. Подписанный, разумеется, карандашом: Баламут. Вопросительный знак.

Красным, к слову, ни разу не мигнуло — за всю галерею, ни единожды, хотя по всякой логике безликая дама на стене должна была как-то отреагировать на собственный портрет и на портрет своего врага. Не отреагировала. Значит, одно из двух: либо здесь, в этой глубине, полномочия моей богини не работают вовсе, либо она в такой глубокой отключке после явления в сторожке, что красных строк я не увижу ещё долго. Обе версии я записала. Обе мне не нравились.

Коридор кончился комнатой.

Странной, пустой, с гладкими стенами — и с дверью в дальнем торце, при виде которой стало ясно, зачем нас сюда так вежливо звали.

Дверь была необычной во всём. Ни ручки, ни скважины, ни петель на виду, ни щели — сплошная плита, тупик тупиком. Одно только на ней было — рисунок. И рисунок этот заставил меня и Аркадия Львовича переглянуться одновременно.

Дверь была разделена вертикально пополам, на чёрную половину и белую. На чёрной половине — изображение косы и левой ладони, раскрытой, приложенной. На белой — весы и правая ладонь, тоже раскрытая. Чёрно-белая. В цвет браслета на моём запястье. В цвет весов на груди Аркадия Львовича. В цвет черепа, что делит надвое всё в этом ведомстве.

Я приложила ладони к рисунку — обе, к своей чёрной половине с косой. Ничего. Ни звука, ни тепла, ни движения.

Аркадий Львович приложил свои — к белой, к весам. Тоже ничего.

Мы постояли, покумекали. Может, надо не руки, а инструменты — положить у двери косу и весы? Но тогда при чём тут нарисованные ладони? Ладонь на двери — это про руку, про касание, про присутствие. Инструмент подразумевался, но не как подношение — как принадлежность.

И тут меня — на правах человека, которому в этой семье положено соображать первым, — осенило. Осенило так, что я даже засмеялась от простоты.

Дверь была на двоих.

Не на одного. Половина чёрная, половина белая; коса и весы; левая ладонь и правая. Смерть и Суд. Некромант и Судия. Её нельзя открыть в одиночку — ни мне, ни ему, — потому что то, что за ней, требует обоих ведомств разом. Подписи и печати. Дебета и кредита.

— Аркадий Львович, — сказала я. — Встаём вдвоём. Вы — к своей, правой. Я — к своей, левой. Одновременно.

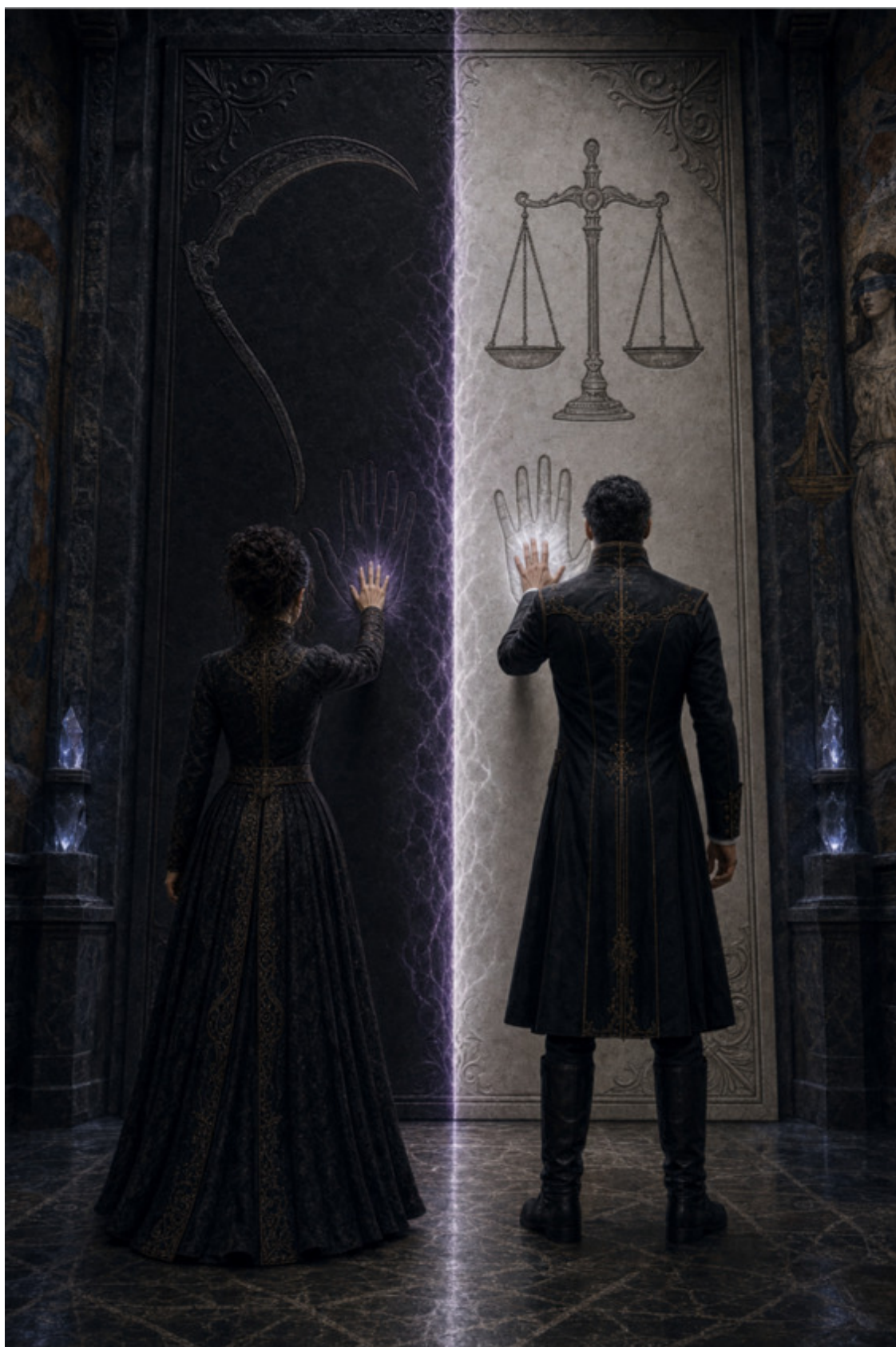
Он посмотрел на меня поверх несуществующих очков — долгим, всё понимающим взглядом человека, который сорок один год открывал со мной двери, за которыми оказывалось то перестрелка, то поглощение, то целый новый мир. Вздыхнул. И встал к белой половине.

— Если за этой дверью опять кто-то с поклоном подаёт перо, — сказал он, поднимая правую ладонь, — я подаю в отставку. Впервые за сорок один год. Готовы?

— Готова, — сказала я и приложила левую к чёрному.

Кладу руку, гербовым шрифтом, для истории.

И тут произошло то, после чего наша жизнь уже никогда не была прежней.



Глава 6. Слияние

В глазах стало ярко — невыносимо, добела, как будто в лицо распахнули домну.

А потом не стало ничего. И одновременно — всё: крошечная тьма и полный свет разом, в одном и том же месте, без границы между ними, как на том черепе, что делит надвое мой браслет. Я не знала, что тьма и свет могут занимать одну точку. Теперь знаю. Теперь я в этой точке, кажется, находилась.

Первое, что вернулось, — зрение. И зрение доложило странность: я стала выше. Намного. Мои привычные сто шестьдесят пять сантиметров смотрели на комнату откуда-то с высоты за два метра — пол отъехал вниз, притолока опасно приблизилась, дверной проём оказался мне по плечо. Я подняла руку, чтобы убедиться, что рука на месте.

Рука была на месте. Проблема была в том, что рук оказалось две пары ощущений на одном теле — и одну из них я не поднимала. Она поднялась сама.

А потом я услышала голос.

Знакомый до зубовного скрежета, до оскомины, до сорока одного года совместной работы. Голос моего юриста. У себя. В голове. Изнутри.

— Елена Викторовна, — сказал Аркадий Львович прямо в мой череп с интонацией человека, обнаружившего в отчётности что-то настолько несуразное, что даже ругаться неприлично, — я, кажется, у вас в голове. Или вы у меня. Одно из двух, и оба варианта я нахожу вопиющими.

Мне поплохело — насколько может поплохеть существу, у которого больше нет отдельного «мне».

Мы слились. Я и Аркадий Львович. В одно. Дверь на двоих сработала буквально: приложили две ладони — получили одно тело на две души, коса и весы, дебет и кредит, спаянные в единый баланс, который я не сводила и своди теперь как хочешь.

Мы поговорили — если можно назвать разговором обмен паникой внутри общего черепа. Пришли к согласию в одном: надо посмотреть, во что мы превратились, и надо посмотреть на детей. Развернулись — общим усилием, не сразу поймав, чья нога первая, — и увидели детей.

Дети не дышали.

Павел, Даша и Стас стояли столбиками, с лицами людей, у которых мозг вежливо предложил перезагрузку. Не моргали. Кажется, не дышали. Смотрели на нас — на то, чем мы стали, — и молчали так, как молчат только при виде по-настоящему невозможного.

— Как я выгляжу? — спросили мы.

Спросили вслух, тем, что теперь было у нас ртом, — и голос вышел общий: не мой и не его, а третий, незнакомый, звучащий сразу в двух регистрах. От собственного голоса нам стало ещё неуютнее.

Павел молча — он всегда в кризис молчит — снял со спины наш гильдейский эксклюзивный щит, отполированный до зеркала, и развернул его к нам.

И нам пришлось обалдеть ещё раз, уже на пару.

Из щита на нас смотрело существо.

Высокое, статное, с крыльями за спиной — настоящими, не туманными щупальцами Павла. И крылья были разные. Левое — с моей, белой стороны — белое, но демоническое: перепончатое, острое, с когтем на сгибе. Правое — с его, тёмной — чёрное, но ангельское: перьевое, размашистое, как на образах архангелов. Белое крыло демона и чёрное крыло ангела: пара, которой не бывает, — на существе, которого не бывает тоже. И существо это было разделено ровно пополам, вертикально, по осевой.

Голова у существа была одна. Одна — но лицо на ней делилось ровно пополам, по переносице, как делилось надвое всё тело: слева одно, справа другое, сросшиеся по осевой линии в единый, невозможный, но цельный лик.

Левая половина лица — и левая половина тела — были женскими. Моими. Я узнала свою скулу, свой глаз, свою линию плеча. Светлого, белого тона — и из этой белой половины, над виском, рос рог. Витой, аккуратный, глубоко бесовской.

Правая половина — мужская. Старше, суше, крупнее в кости. Аркадий Львович, вне сомнений: я сорок один год знала этот профиль по ту сторону стола переговоров. Тёмного тона — и над его виском сиял нимб. Ангельский, тонкий, святой. Один нос на двоих, поделённый вдоль. Один рот, левый уголок — мой, правый — его. Смотрели из щита два наших глаза с одного лица, и это было страшнее всего виденного за две жизни.

Белая половина — с рогом. Тёмная — с нимбом. Всё наоборот, как на моём браслете, как положено в этом вывернутом ведомстве, где чёрное свято, а белое рогато.

А в груди у существа — у нас — были весы. Одни на двоих, во всю грудину. И вот тут вывернутость доходила до предела: на чёрной, его половине висела белая чаша весов, а на белой, моей — чёрная. Мы обменялись даже чашами. Дебет ушёл к кредиту, кредит к дебету, и сошлись где-то посередине, в общем сердце, которое теперь билось на два имени.

В опущенной левой руке — моей — была коса. В опущенной правой — его — меч. Инструменты Смерти и Суда, по руке на ведомство.

И эти двое — коса и меч — хотели соединиться.

Я чувствовала это, как чувствуют голод или зевоту: неодолимую тягу металла к металлу, косы к мечу, тёмного к светлому. Мы не решали. Мы только не воспротивились — и руки сами свели инструменты вместе. Древко к рукояти, лезвие к клинку — и с тихим, окончательным звоном коса и меч срослись в одно.

В мечище. Огромный, несуразно длинный, чёрно-белый по клинку — оружие не для человека и не для боя с человеком. Таким можно рубить только очень большие головы.

Кстати о больших головах.

Я — мы — обернулись к фреске у входа. К той самой, с войной богов. И посмотрели на неё новыми, общими глазами, с высоты нашего нового роста.

То, что я час назад приняла за очередного демонюгу в гуще резни, — высокую крылатую фигуру на одном из флангов, — оказалось ни разу не демонюгой. Оказалось, что художник изобразил на стене ровно то, чем мы только что стали: двуполого крылатого, с косой-и-мечом, с весами в груди. Мы. Нас уже рисовали. Мы стояли на этой фреске веками, в самой гуще войны богов, — и только теперь, слившись, смогли себя на ней узнать.

Значит, это уже было. Значит, Смерть и Суд сливались в одно и прежде — тогда, в ту войну, что кто-то так старательно стёр со стены и из памяти. Мы не первопроходцы. Мы — повторение.

От этого знания легче не стало. Стало страшнее.

Потому что за восторгом узнавания немедленно встали проблемы. Три штуки. По возрастанию ужаса — моя любимая градация, чтоб её.

Проблема первая, бытовая: мы не умели этим управлять. Слиться — оказалось легко, приложил ладони и всё. А вот делить контроль — это совсем другая наука. Мы то дёргали одну ногу вдвоём, то не дёргали ни одной; чтобы повернуть голову, приходилось внутренне договариваться, а договариваться, когда вас двое в одной голове и оба привыкли командовать, — это, доложу вам, тот ещё управленческий ад. Два генеральных директора в одном кресле. Мы с Аркадием Львовичем и по разные-то стороны стола не всегда сходились с первого раза.

Проблема вторая, страшнее: как разъединиться. Про это дверь инструкцию не выдавала. Кнопки «расстыковка» на нас не наблюдалось. Мы попробовали просто захотеть обратно —

врозь, каждый в своё, — не вышло: тело держало нас вместе, спаянных, и отпускать не собиралось.

А проблема третья была из тех, от которых холодеет даже общее наше сердце.

Таймер.

У меня таймера нет — я тут живу, застряв я могу хоть навсегда, мне это, к сожалению, доступно. А у Аркадия Львовича таймер есть. Сессия. И когда она истечёт — что произойдёт? Тело с той стороны, реальное, шестидесятипятилетнее, лежащее в капсуле, потянет его к себе, на выход, как тянет якорь. А он — здесь, вплавлен в меня, сросшийся косой и мечом, чашами весов, черепом на двоих. Что рвётся, когда одну половину сросшегося существа дёргают в другой мир?

Я не хотела знать ответ. Мы не хотели.

— Возможно, — сказал Аркадий Львович внутри нашей головы, и я почувствовала, как он берёт себя в руки — обе наши руки, — возможно, всё проще и лучше. Возможно, когда таймер сработает, меня просто выдернет — и слияние разомкнётся само, штатно, по выходу. Отвалится, как отваливается сессия. Это оптимистичный сценарий, и как юрист я обязан рассмотреть и его.

— А чтобы его проверить, — сказали мы вслух, обеими половинами разом, — надо нажать «выход».

И тут вступила проблема, которую я приберегла напоследок, потому что она обнуляла все предыдущие расчёты разом.

Кнопка выхода у нас не работала.

Не «мы боялись нажать» — физически не работала, была недоступна, серая. Потому что мы в подземелье. А из подземелья, как я усвоила ещё в топях и в дубайском колодце, просто так не выходят: выход блокируется, пока ты внутри данжа и пока не разбит временный лагерь на безопасном пятачке.

Лагеря у нас не было. Пятачка безопасного — тоже: мы стояли в комнате перед дверью — по-прежнему закрытой, наглухо, ради которой всё и затевалось, — в теле, которым не умели ходить, сросшиеся намертво, с неработающим выходом и тикающим на одну из наших половин таймером.

— Итого, — подвёл общий наш голос, и в нём мешались моя деловая сухость и его юридическая. — Мы срослись. Управлять не умеем. Разъединиться не можем. Выйти нельзя. А время идёт — его время.

Дети наконец-то выдохнули. Первым ожил Стас — потому что Стасу по классу положено первым реагировать на опасность:

— Значит, — сказал он осторожно, глядя на нас снизу вверх, — надо срочно ставить лагерь. Чтобы заработал выход. Чтобы проверить оптимистичный сценарий Аркадия Львовича, пока не проверился пессимистичный.

Умный мальчик. Я всегда говорила.

Мы посмотрели на детей сверху вниз — двуполое крылатое существо с мечом-косой и вывернутыми весами в груди посмотрело на троих ошалевших игроков, — и сказали общим голосом единственное разумное, что можно было сказать в этой ситуации:

— Ставим лагерь. Быстро. И, дети... не пугайтесь. Это всё ещё мы. Просто нас теперь... оптимизировали.

Мечом-косой мы указали на пол — вон там ровно, ставьте, — и с ужасом почувствовали, как обе наши половины одновременно, не сговариваясь, подумали одно и то же.

А ведь оно, это тело, — удобное.

И вот эта мысль пугала больше таймера.



Глава 7. Синхронизация

Страх, если свести его к сути, у нас был один — и был он до отвращения корпоративный.

Что происходит с компанией, которая вот-вот потеряет контрольный пакет? Её поглощают. А поглощаться — растворяться в другом, перестать быть собой, отдать контроль над собственным телом чужой воле — не хотелось ни одной из наших сторон. Ни мне, ни Аркадию Львовичу. Мы всю жизнь, оба, по разные стороны стола, занимались ровно обратным: не давали поглотить. И оказаться поглощёнными друг другом — пусть даже друг другом, пусть даже партнёром, проверенным сорока одним годом совместной работы, — было для нас обоих оскорблением самой природы.

Лагерь раскинули быстро и старательно. Дети работали молча и сосредоточенно, как работает бригада, когда начальство временно превратилось в двуполого крылатого ангела-демона и шутить резко расхотелось. Полог, круг, тепло — стандартный набор, отработанный до автоматизма. И — сработало: кнопка выхода из серой ожила.

Аркадий Львович вышел.

И вот тут выяснился нюанс, от которого мне немедленно захотелось выйти следом, только мне некуда.

Пока его не было — его половина тела не работала. Вообще. Совсем. Правая сторона — его сторона — повисла мёртвым грузом: рука не поднималась, нога не шла, глаз не моргал, половина лица обвисла, как после известной беды. А сделать что-либо с одной действующей половиной тела, доложу вам, невозможно в принципе. Я попыталась шагнуть — и завалилась на бок, потому что шагала одной ногой. Я представляла собой зрелище.

Лучшее сравнение, которое подобрал мой перепуганный ум: лягушка в колодце, которой оторвало одну лапку и велели грести. А куда грести? А вверх. А высоко ли? А неизвестно. Вот примерно так я и гребла — по кругу, одной стороной, по дну комнаты, поминая недобрым словом двери, богов и собственную любознательность.

Я молилась — искренне, впервые за две жизни всерьёз, — чтобы Аркадий Львович зашёл обратно. Быстро. Потому что проблему надо было решать срочно, и вот почему: если сейчас, в лагере, при живом выходе, отсутствие юриста превращает меня в половину калеки — то что будет, когда его выдернет по таймеру там, не спросив, посреди нашего подземелья? Наступит, как я это занесла в реестр, критическая непонятно-ситуация. С ударением на «непонятно».

Единственный плюс, оставшийся при мне в одиночестве: скелета вызвать я могла. Хоть что-то от меня работало.

Хотя и тут была засада. В слитом состоянии половина моего резерва куда-то делась. Не исчезла — я чувствовала её, — а оказалась под замком: тёмное пространство приоткрывалось ровно наполовину, половина армии и половина маны лежали за перегородкой, к которой у меня в этом теле не было ключа. Видимо, вторая половина ключа была у второй половины тела. Логично, стройно и абсолютно невыносимо: если у тебя под замком пол-армии и полрезерва, а сам ты вдобавок наполовину калека, то воевать — да простят меня высшие силы, к которым я теперь, кажется, отношусь ближе, чем хотелось бы, — довольно проблематично.

Аркадий Львович зашёл через несколько минут — для меня они тянулись как годовой аудит. И тело собралось: правая сторона ожила, рука поднялась, нога встала, обе наши половины воссоединились, и я снова была цельным крылатым чудищем с одним лицом, разделённым надвое. Что после одноногой гребли по колодцу ощущалось почти счастьем.

— Аркадий Львович, — сказала я ему внутрь, когда тело снова стало цельным. — У меня к вам просьба, и просьба серьёзная. Постарайтесь не выходить резко и без предупреждения. Вы только что видели, во что я превращаюсь без вас: половина тела мёртвым грузом, я гребу по полу одной ногой, как та лягушка. Мне отсюда выйти некуда — я тут живу, у меня нет

ни таймера, ни капсулы, ни кнопки. Куда бы вы ни ушли, я остаюсь. И остаюсь половиной. Так что если уж соберётесь — предупредите, дайте лечь, дайте подстраховаться скелетами. Не бросайте меня внезапно.

Внутри повисла пауза — он переваривал сказанное со всей серьёзностью, на какую способен человек, впервые осознавший, что его выход из игры калечит другого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.